

Перед лицом катастрофы

Сборник статей под редакцией и с предисловием Николая Плотникова

О. Аронсон

А. Архангельский

А. Ахутин

К. Бандуровский

А. Бикбов

А. Винкельман

А. Дмитриев

А. Доброхотов

С. Зенкин

И. Кукулин

М. Майофис

М. Маяцкий

М. Меньшикова

Е. Петровская

О. Тимофеева

Перед лицом катастрофы

PHILOSOPHIE

Forschung und Wissenschaft

Band 57

LIT

Перед лицом катастрофы

Сборник статей

О. Аронсона, А. Архангельского,
А. Ахутина, К. Бандуровского, А. Бикбова,
А. Винкельман, А. Дмитриева,
А. Доброхотова, С. Зенкина, И. Кукулина,
М. Майофис, М. Маяцкого, М. Меньшиковой,
Е. Петровской, О. Тимофеевой

под редакцией и с предисловием

Н. Плотникова

Фото на обложке: Виктория Ивлева: Харьков, май 2022 года

Umschlagbild: Viktoria Ivleva (Kiev): Kharkiv, Mai 2022



Gedruckt auf alterungsbeständigem Werkdruckpapier entsprechend
ANSI Z3948 DIN ISO 9706

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-643-15317-3 (br.)

ISBN 978-3-643-35317-7 (PDF)

ISBN 978-3-643-15333-3 (OA)

© LIT VERLAG Dr. W. Hopf Berlin 2023

Verlagskontakt:

Fresnostr. 2 D-48159 Münster

Tel. +49 (0) 2 51-62 03 20

E-Mail: lit@lit-verlag.de <https://www.lit-verlag.de>

Auslieferung:

Deutschland: LIT Verlag, Fresnostr. 2, D-48159 Münster

Tel. +49 (0) 2 51-620 32 22, E-Mail: vertrieb@lit-verlag.de

Содержание

Николай Плотников. Предисловие 5

I.

Олег Аронсон. Стыд как общее чувство..... 13

Андрей Архангельский. Назвать зло по имени..... 19

Сергей Зенкин. Ремесло заложника..... 27

Мария Майофис, Илья Кукулин. Эмпрессия вместо идеологии 35

*Михаил Маяцкий. Суд совести и просто суд:
неискупимость вины vs. неотвратимость наказания* 47

II.

Александр Бикбов. Травма неомеркантилизма и задачи новой культуры..... 61

*Александр Дмитриев. Миражи преемства
(к критике «обычной схемы» русской истории прошлого века)*..... 73

Мария Меньшикова. Левые и война в Украине 87

Елена Петровская. Империя, или саморасширяющаяся пустота..... 93

Оксана Тимофеева. Влечение к смерти: от империи к фашизму 103

III.

Анатолий Ахутин. Нигилистическая война и ответственность мысли 119

Константин Бандуровский. Три снимка..... 133

Анна Винкельман. Свободное высказывание..... 139

Александр Доброхотов. Разговор о войне, тирании и конце истории 149

ABSTRACTS..... 165

AUTHORS..... 171

НИКОЛАЙ ПЛОТНИКОВ

Предисловие

Ангел истории, которого изображает Вальтер Беньямин в своих знаменитых «Тезисах о понятии истории», замер с раскрытым ртом и расправленными крыльями. Он не может оторвать взгляд от свершающейся на его глазах всемирной трагедии. «Там где *нам* видны лишь цепочки отдельных событий, – пишет Беньямин, – *Он* видит одну сплошную катастрофу, непрерывно громоздящую груды развалин и швыряющую их ему под ноги».

Нам не дано узнать, что видит ангел истории сейчас и как катастрофа открывается его взору. Нам виден тот непрерывный поток страданий, разрушений и смерти, который приносит с собой агрессивная война, развязанная правительством России 24 февраля 2022 года против государства и народа Украины. Нам видна нескончаемая цепь преступлений армии агрессора. Мы становимся свидетелями того, как война лишает крова и тепла миллионы мирных жителей, заставляя их покинуть родные места. Как она разрушает жизненный проект двух постсоветских поколений и лишает их будущего. Как она разрывает ткань человеческих связей, разоряя семьи, разбивая сообщества, сея вражду между народами.

Мы сами стараемся найти связь в этом хаосе событий и увидеть контуры случившейся катастрофы. Как она стала возможной? Кто ее виновники? Каковы будут ее последствия? И главное – *что* это за катастрофа? Как ее назвать? Какие найти слова, чтобы выразить ее смысл? Прежние понятия кажутся совершенно неуместными, все диагнозы и прогнозы не подтвердились. Чтобы снова наполнить смыслом понятия, следует подвергнуть их радикальной критике и отбросить все те, что отчетливо обнаружило свою интеллектуальную несостоятельность. Нужно демонтировать все исторические, политические и философские мифы – «традиционных ценностей», «неограниченного суверенитета», «самобытности», «русской цивилизации», «империи», «Великой России» и еще десятков больших и малых мифов национального превосходства, ставших дискурсивным оправданием российской военной агрессии и породивших то сознание имперского высокомерия, что становится на наших глазах причиной ее неизбежного поражения.

На пути этой работы над критикой понятий стоят, однако, не только горы дискурсивного хлама, питавшего все постсоветские десятилетия имперскую «хюбрис» российского интеллектуального и политического класса, которая, словно по классическому сюжету античной трагедии, пробуждает теперь силы возмездия. Работе критики препятствуют еще и запреты на публичное употребление понятий. В российском публичном пространстве запрещено называть вещи своими именами – войну войной, агрессию агрессией, преступление преступлением, а те, кто осмеливаются называть, стигматизируются ярлыком «иностранный агент» или подвергаются прямым репрессиям. И эта невозможность свободного слова в России – вовсе не внешняя языковая преграда, тренирующая, как в прежние времена царской и советской цензуры, умение использовать «эзопов язык» между теми, кто «все понимает». Она блокирует

саму способность отчетливо мыслить эти публично неназываемые феномены и способствует их вытеснению на периферию сознания. Интеллектуальная деятельность в России лишается самого главного своего основания – возможности свободного обмена мнениями в ходе коммуникации без принуждения и насилия, и заменяется аккламационной публичностью, способной лишь возносить хвалу тирану и творимой им агрессии.

Но чтобы состояться, работа критики должна быть публично артикулируемой. А если сейчас в России свободное высказывание невозможно, то нужно создавать новое дискурсивное пространство свободы солидарным усилием в любой точке мира, где публичная и опубликованная на русском языке интеллектуальная позиция могла бы состояться без оглядки на цензуру и самоцензуру.

Такое солидарное усилие проявили авторы настоящего сборника, откликнувшись на предложение сформулировать общее понимание происходящей катастрофы. Авторы находятся сейчас в России, в Украине, в странах Европы и Америки – в пространствах, разделенных границами, которые становятся все более непроницаемыми. Но поверх этих границ нас объединяет сознание необходимости проделать тот критический анализ основных понятий, без которого невозможно точно выразить смысл происходящего, очертить контуры случившейся катастрофы и найти новые способы речи о нас самих, о нашем языке и мышлении, о нашей культуре и истории, а тем самым и заложить основы для нового пространства свободного публичного дискурса.

В истории российской общественной мысли опыт такого солидарного выражения критическими интеллектуалами своей публичной позиции в рамках бесцензурного сборника статей, откликающегося на крупные исторические перевороты и заявляющего некоторые важные аспекты понимания современности, далеко не нов. В революциях и катастрофах XX века возникла целая традиция таких интеллектуальных манифестов – идеалистов и марксистов, либералов и социалистов, эмигрантов и диссидентов. «Проблемы идеализма» и «Свободная совесть», «Вехи» и «Интеллигенция в России», «Из глубины» и «Царство антихриста», «Из-под глыб», «Самосознание» и другие сборники сформировали парадигму философского высказывания, являющегося одновременно концептуальным анализом современности и публичным действием интеллектуалов, своим критическим словом заявляющих гражданскую позицию в ситуации нарастающей или уже все подавляющей несвободы.

В этом сознании исторической преемственности авторы настоящего сборника, – представители трех поколений российской гуманитарной культуры – объединились, чтобы выразить философский и исторический смысл происходящей катастрофы. При всех различиях в подходах и обсуждаемых темах авторы сходятся в формулировке общего понимания катастрофы, причину которой можно обозначить как *ментальный изоляционизм*, господствующий в сознании российского политического класса и поддерживающего его общества. «Изоляционизм» – не только как установка сознания, выражающаяся в социальном солипсизме и тотальной фиксации на себе, но и как общественный дискурс и социальная практика игнорирования и исключения Другого. Авторы развивают это общее понимание в трех измерениях – как *этической, социальной и антропологической катастрофы*. Связующим звеном трех разделов сборника,

посвященных рассмотрению этих трех измерений, как раз и является анализ изоляционистского комплекса, представляющего собой смесь сознания превосходства, переживания фантомной обиды и демонстрации самобытности. Составные части этого комплекса сформировали и продолжают питать тот всепроникающий ресентимент, который стал определяющим мотивом российской военной агрессии.

Как его описали уже классические аналитики ресентимента – Ницше, Шелер и Сартр, этот феномен тоже включает в себе не только аффект обиды и целый спектр психических состояний ненависти и враждебности, но также и социальный габитус, т.е. набор ценностных и нормативных установок, техники власти и управления сознанием, матрицу политического поведения, а также особый тип насилия, практикуемый носителем ресентимента в отношении окружающих. Связь всех разнородных социальных практик и техник держится на *господстве прошлого над настоящим*, которое блокирует сознание реальности и конструирует собственный мир, сотканный из ностальгических мифов, фобий, вражды, жажды мести и чувства несправедливости. «Человек ресентимента», как называет его Ницше, существует в другом времени и пространстве, разрушая всякую реальность, которая сопротивляется его фантомному образу прошлой обиды.

В *этическом* отношении изоляционизм измышляет собственную мораль – мораль ресентимента, для которой характерно полное отсутствие этической субъектности. Всякое сознание собственной вины и ответственности блокируется, а вместо него все зло экстерниорируется в образе внешнего врага, который демонизируется и предстает в образе главного субъекта действия. «Злому» врагу противопоставляется в качестве антипода зеркальный образ «доброего» себя, лишенного всякой способности к этической саморефлексии. В этом образе «доброего себя» все этические категории натурализируются и национализируются: все эти «традиционные ценности», «наша правда», «исконное русское чувство справедливости» преподносятся как естественно или даже генетически данные свойства русского народа или «русской цивилизации», не требующие никакого индивидуального этического усилия, но при этом гарантирующие моральный иммунитет всего народа против зла, присущего лишь «врагу». На этом сознании коллективной невинности и доброты основано также и чувство собственного морального превосходства над другими, выражающееся в полном отказе подчиниться универсальным законам и правилам, но сопровождаемом непрерывными причитаниями по поводу господства «двойных стандартов». Изоляционизм оказывается, таким образом, лишь скрытой формой воли к власти и стремления к господству над другими.

В этом пункте этический смысл переживаемой катастрофы соединяется с *социологическим*. Изоляционизм, ставший причиной и формой легитимации российской военной агрессии, находит свое социальное и политическое воплощение в созданной под шум разговоров о «суверенитете» и «суверенной демократии» системе власти, которая недоступна никакому контролю и критике со стороны общества. Это замкнутая на себе власть, не регулируемая ни изнутри, ни извне никакими общезначимыми нормативными рамками, будь то парламентско-политическими, правовыми, моральными, экономическими или религиозными. Ни один из этих нормативных порядков в российском обществе не обладает реальной независимостью от системы власти и поэтому не ока-

зывает на нее никакого ограничивающего влияния. Этой системе противостоит лишь масса атомизированных индивидов, все попытки которых сформировать базовые структуры гражданской солидарности пресекаются на корню. Консолидация населения вокруг власти достигается за счет перманентного медийного конструирования образа внешнего экзистенциального врага, борьба с которым оправдывает устранение всякой политической конкуренции и любых форм демократического плюрализма. При этом образы прошлых побед и бывшего величия, украденных и оскорбленных внешними врагами, становятся основным топливом для поддержания энергии изоляционистского ресентимента. С другой стороны, эта консолидация достигается за счет персонализации власти в лице национального лидера и «отца нации», к которому адресуются все чаяния справедливости со стороны населения, подавляемого самой этой системой власти.

Эта, по существу, тираническая модель правления имеет свой *pendant* в политэкономическом поведении российского империализма. Не выдержав конкуренции глобального капитализма, он возвращается к захватническим практикам ранней колониальной эпохи, разграбляя и эксплуатируя захватываемые военным путем территории под фанфары адептов «геополитики». Воля к экспансии и захвату колоний при этом вовсе не противоречит, а даже наоборот фундаментальна в ментальном изоляционизме, одним из типичных проявлений которого является метафизика специфически «русского пространства», якобы не имеющего никаких фиксированных границ. Однако отсутствие предела и определенности является согласно учениям классической метафизики и классического психоанализа, характеристиками *ничто* или смерти, которая не знает различий и границ.

Здесь нам открывается *антропологическое* измерение той катастрофы, в которую ввергает российский тиранический режим Украину, саму Россию и весь мир, затронутый близкими и дальними последствиями войны. Господство ментального изоляционизма приводит власть и общество к последовательному отказу от всех универсальных норм и гуманистических ценностей. Отстаивание «общечеловеческих ценностей» становится в лучшем случае предметом публичных насмешек и издевательств, а в худшем – причиной уголовных преследований.

Изоляционистскими становятся сами философские категории, которые задействуются лишь для того, чтобы оправдать миф о цивилизационной исключительности России. При этом наличные культурные различия, всегда имеющие исторически изменчивый характер, возносятся до метафизических высот в мифе о самобытной русской цивилизации, а по существу натурализируются в виде некоего вечного культурно-генетического кода русских. Дугинская «метафизика русской вещи» – лишь конечный продукт интеллектуального распада, начавшегося десятилетия назад болезненными поисками «самобытной русской философии».

Этот демонстративный отказ от универсализма в философии охотно заимствует многие аргументы из западной культур-критики и теорий постколониализма, изображая идею прав человека и индивидуальной свободы инструментом колониальной экспансии Запада. Разговоры о неприменимости универсальных гуманистических принципов к оценке политической и социальной

ситуации в России или Евразии в силу «культурной специфики» последней де-факто роднят их с дискурсами авторитарных диктатур на всех континентах, использующими тезисы культурного релятивизма и партикуляризма для иммунизации собственной позиции от аргументов внутренней и внешней критики.

Поэтому выход из катастрофы и преодоление ее последствий возможны только на пути осознания принципиальной несостоятельности интеллектуального изоляционизма, его последовательной критики и демонтажа. Нужно новое Просвещение для России, заново открывающее смысл и ценность универсализма в мысли, в политике, в публичной сфере и в обществе. Но такое Просвещение, которое несет в себе рефлексию по поводу своего прежнего поражения в интеллектуальной и культурной истории России.

Ветер прогресса уносит беньяминовского ангела истории в будущее, оставляя в прошлом жертвы исторических катастроф. Но мы, как участники и свидетели истории, не имеем права забыть о жертвах катастрофы, творимой на наших глазах в Украине. Наша собственная моральная субъектность будет отныне всегда определена сознанием этих жертв и обязанностью помнить о них. Без этого сознания и без этой обязанности не может быть никакого будущего.

Бохум, 1 декабря 2022 года

I.

ОЛЕГ АРОНСОН

Стыд как общее чувство

1.

Сегодня, когда Россия вторглась в Украину и война вновь пришла в Европу, заново приходится переосмысливать сюжеты, актуальность которых, казалось бы, почил в бозе. Вновь встает вопрос о коллективной вине, вопрос о том, насколько можно инкриминировать вину всем гражданам государства-агрессора, даже тем, кто не согласен с политикой этого государства. Исторически эта тема рефлексировалась после поражения Германии во Второй мировой войне на протяжении не одного десятилетия. Вывод, к которому пришли многие философы и интеллектуалы прошлого века, недвусмысленен: коллективной вины не существует. Сегодня, когда об этой проблеме пишут журналисты и политологи, то это принимается как некоторая самоочевидность. Более того, тех, кто почему-то настаивает на коллективной вине, обвиняют в тоталитарном мышлении и даже в фашизме.

Однако важно обратить внимание, что сегодня Россия не находится в положении проигравшей в войне и нет той инстанции победителя, которая могла бы вину государства и его граждан зафиксировать подобно Нюрнбергскому трибуналу. И тем не менее вопрос о коллективной вине возник в первые же дни вторжения российских войск на территорию Украины. Многие люди испытали чувство стыда за собственное государство. Это чувство странно потому, что стыд испытывали не причастные к этому катастрофическому событию, а именно те, кто был его противником, кто последовательно многие годы критиковал решения властей и оказывал посильное сопротивление путинскому режиму.

Стыд ли это? Или некоторое чувство, которое просто очень похоже на то индивидуальное проявление стыда за собственные действия, которые неприятны себе самому и которые не хотелось бы совершить снова.

Когда речь заходит о коллективной вине, на первый план выходит юридическая доминанта (вердикт выносит суд) или квазигиририческая (вердикт выносит общественная мораль), которая всегда подразумевает атомизированного субъекта вины (индивида, коллектив, народ, государство...)

И это было бы разумно, если бы не этот странный стыд, стыд за то, что не совершал сам, а совершал именно твой антогонист.

Возможно, этот стыд следует рассматривать не как комплекс индивидуальных эмоций отдельных граждан, а как пространство социального аффекта. Или как область «общего чувства» (*sensus communis*) в том смысле, который придал этому понятию Кант в Третьей критике. Это уже не просто частное переживание, но некий перцептивный комплекс, в котором несобственный стыд оказывается необходимым условием, динамизирующим заостеневшие в правовой и моральной сферах понятия вины и ответственности.

2.

Одним из первых, кто постулировал ложность идеи коллективной вины, был Карл Ясперс в своей знаменитой работе «Вопрос о вине». Он утверждает, что вина может быть либо уголовная, требующая доказательства в суде, либо политическая, которая навязывается победителем (как и произошло в Германии), либо моральная, возможная лишь в кругу единомышленников... Но есть еще, по Ясперсу, и четвертая, метафизическая вина, когда *ты не сделал всего, что возможно для противостояния злу*. Само введение категории зла придает этому типу вины религиозный аспект. Но зададимся вопросом, что есть метафизическая вина, если мы откажемся следовать Ясперсу и интерпретировать ее в религиозном ключе как вину перед богом? Она выражается в том, что *я не сделал того, что мог бы как гражданин*. Здесь значимо даже не столько то, что место бога занимает общество, сколько то, что акцентируется момент индивидуальной слабости перед силами, превышающими возможности индивида (силами государства-Левиафана), требующими почти античного героизма.

Сегодня люди, демонстрирующие индивидуальный протест против деспотической власти, не выглядят носителями античного *hybris*'а. Это совсем не вызов, бросаемый богам. Однако их воспринимают как героев, поскольку нынешний героизм – не столько доблесть, сколько принесение себя в жертву. Поэтому если ты не стал героем, тебя за это некому винить и судить. Судья здесь – только бог. Так полагает Ясперс в своей персоналистской интерпретации вины.

Но есть ли в событии войны нечто, что позволяет преодолеть «индивидуальную слабость»? Преодолеть – не значит обрести силу, а значит прервать тот индивидуалистический режим отношения с миром, который и диктует слабость индивида (политическую), наряду с культом индивида (метафизическим). На этой слабости покоится и гоббсова идея государства, в рамках которой мы продолжаем мыслить вину и ответственность.

Возможно, «слабость» и ограниченность индивида есть его способы выхода за собственные пределы. И здесь мы вновь обращаем внимание на *sensus communis* Канта, которое, в частности, проявляет себя в том, что он называет «динамическим возвышенным», способностью индивида бросать вызов силам (природным и социальным катастрофам), превышающим его собственные. Это уже не античный героизм, а этика императивов, движимая долгом и общностью.

Именно «общность» недооценивает Ясперс, когда отказывает коллективной вине в праве на существование, хотя «общность» как раз и есть тот коррелят, который делает возможной метафизическую вину. В этом виде она предстает как коллективная и выражается не просто в неисполнении нравственного императива, а в ее особом парадоксальном моменте: я не могу исполнить нечто, что от меня требует нравственный закон, но это «не могу» не выводит меня из ситуации, где бездействие аморально, где требование (императив), диктуемое общностью, не выполнено. Таков механизм возникновения аффекта социального стыда, вызванного чувством вины за действия других, приведших тебя к неспособности действовать.

Неспособность действовать может быть разрешена в рационализации мира, когда ответственность перекладывается на социальные институты и государство в частности, а может остаться в ситуации неразрешимости. Война – такое собы-

тие, которое открыто самой этой ситуации неразрешимости: *сопричастность преступлению, общность с теми, кто его совершает, и солидарность с жертвами этих преступлений*. Такая ситуация возникает особенно отчетливо в случае несправедливой войны, агрессивной и жестокой.

Государственная «справедливость» в любом ее виде – будь то риторика расширения жизненного пространства или восстановления исторических границ – это способ нейтрализации момента преступления, анестезии социального аффекта, в котором не индивид, а именно общность сигнализирует о состоявшейся несправедливости. Эти сигналы порой не осознаваемы, но вызывают ощущение тревожности даже у адептов агрессии и циников. Такое «моральное беспокойство» – форма стыда как общего чувства и симптом коллективной вины.

3.

Конечно, нельзя не вспомнить Ханну Арендт, которая в работах 1960-х годов радикально разделила вину и ответственность. Она согласна с Ясперсом, что вина может быть только индивидуальной, а вот ответственность – всегда коллективна. Настолько, что даже «я» претерпевает расщепление, находясь в диалоге с самим другим. Свою формулу она заимствует у Сократа: лучше страдать от зла, чем причинять зло. При этом то, что данное высказывание принадлежит Сократу, позволяет редуцировать мотив жертвенности и индивидуальности страдания. Для Арендт важен именно момент полисного мышления, мышления общностью. Сама отсылка к дохристианскому миру полиса – это также способ исключить из социального аффекта его христианскую составляющую, изначальность вины, первородный грех.

Коллективная ответственность ярко проявляет себя в мире полисного равенства (*isonomia*). Равенство следует понимать не как равенство между индивидами (имущественное, правовое или какое-либо иное), а как продукт полиса, позволяющий людям преодолеть их природу. Когда мы говорим о равенстве в полисе, то всегда должны помнить, что это именно сообщество равных, тех, кто не стремится властвовать. Этим *isonomia* принципиально отличается от демократии и является своеобразной машинерией свободы, а не принципом общественного устройства. На это обращает внимание Ханна Арендт, а сегодня эту идею развивает Кодзин Каратани, проводя различие между афинской демократией, ориентированной на институт рабства, и полисами Ионии, открытыми для мигрантов. Именно в Ионии, по мнению Каратани, торжествовала *isonomia* как невластное правление. Таким образом, и ионийская *isonomia*, и *sensus communis* у Канта трансверсальны обществу с его разделением на классы и даже с разделением труда.

Демократия находится в сложных отношениях с равенством. Дело ведь не только в праве каждого высказаться на агоре, а в том, чтобы высказалась общность.

Именно равенство граждан создает из полиса силу, соизмеримую с богами и сопоставимую с силами стихий. Интересно, что этот сюжет затрагивается Арендт не в ее текстах, посвященных вине и ответственности, а в книге «О ре-

волюции», то есть в размышлении о действии, а не о бездействии, лежащем в основании стыда. Это весьма показательно. Стыд не предмет ее размышлений. Немцам, говорившим, что им стыдно быть немцами, она (не без доли высокомерия) отвечала, что ей стыдно быть человеком. Для нее стыд был воплощением навязанной вины.

Между тем, сама отсылка к революции дает определенную подсказку в интерпретации стыда как общего чувства. Действительно, революция не знает стыда. Это хорошо почувствовал Кант, когда размышлял об энтузиазме, охватывающем общество, следящее за зрелищем Французской революции. При всех своих жестокостях революция оказывается в пространстве позитивной аффективности, в то время как война последние два века человеческой истории практически всегда оставляет шлейф стыда, даже война справедливая. В каком-то смысле стыд войны – обратная сторона революционного энтузиазма.

На эти два режима общего чувства следует обратить внимание еще и потому, что они являются определенным эффектом господствующих в наше время политических форм правления, а именно – демократической и монархической (авторитарной). Причем первая не столько отсылает к полисной демократии греков, сколько является эффектом времени революций, сметающих социальные сословия и иерархии. Мы продолжаем жить в этом дрящемся времени (то, что Бродель называл «временем большой длительности»), и именно в нем авторитарные формы берут свой реванш. В ответ на универсализм свободы-равенства-общности как композита революционного восприятия мира, возникает его инструментализация: свобода начинает мыслиться экономически (например, как свобода предпринимательства и неприкосновенность частной собственности), равенство – юридически (как справедливость независимого суда), а общность – политически (как народ, нация, партия или движение). Революционный энтузиазм растворяется в нормативности демократических институтов. Так демократия теряет свою связь с общностью, теряет доступ к *sensus communis*.

При этом монархическая форма правления не отмирает, не становится архаикой отсталых стран, а находит для себя способ прорастания внутри демократических институтов. Это достигается через превращенную форму революционного энтузиазма – милитаристическую тотальную мобилизацию, через прославление и обожествление войны. Потому прагматические цели войны даже при откровенно фашистской риторике проговариваются стыдливо, вполголоса, а риторика пропаганды постоянно твердит о восстановлении поправной справедливости, о том, что наши воины освобождают несчастные народы от злобного врага, а также о братстве и единстве с тем народом, на который твое государство сбрасывает тысячи бомб.

Можно сказать, именно потому, что демократия забыла свою сопричастность революции, превратилась в демократию институтов, а затем и чиновников, она потеряла связь с ее движущей силой, организовывавшей ее энергию коллективного действия, для которой можно найти много имен: справедливость, солидарность, взаимопомощь, равенство, свобода...

Против демократии действует фашизм с его тотальной мобилизацией масс и насилием нормативности.

Именно пренебрежение массами, страх перед ними, недоверие им и их роли в жизни общества в угоду правам индивида, делает современные демократии неспособными к действию, действию коллективному и солидарному, нехватку которого и фиксирует коллективная вина, а точнее – стыд, понятый как общее чувство.

АНДРЕЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Назвать зло по имени¹

Варварская война, развязанная путинским режимом, продолжает нести смерть и бесчисленные страдания народу Украины. Она также нанесла удар и по самому смыслу существования множества людей, напрямую не затронутых войной – в первую очередь, той части русского мира, которая мыслила себя в рамках цивилизации, в рамках прогресса. С 1991 до 2022 года жизнь для таких людей имела поступательную траекторию – от препятствий к препятствиям, от преодоления к преодолению – через кризисы личные, общественные, экономические. Но все же в этом была надежда на лучшее, на более совершенный мир. Так или иначе, это было движением вперед. Война обесценила все усилия, достижения, лишила экзистенциальной надежды, отбросила нас в нулевую точку.

Чудовищная бойня, затеянная Путиным, окончательно подтвердила архаическую природу его режима. Формально причина войны связана с восстановлением «имперских» границ – но на самом деле суть этой войны в сворачивании, отмене самой цивилизации – всех 30 лет с момента распада СССР. Реанимированный с помощью магических средств (телевизионной пропаганды, в первую очередь) советский XX век, Мертвец, восставший из пепла, воюет сегодня с Миром живых, с миром современности, с веком XXI. Пропаганда – предвестница смерти – все эти годы растравливала раны девяностых годов, предложив в итоге россиянам в качестве чудовищной «компенсации» войну: буквальное, физическое уничтожение Других. В конечном итоге месть целому миру, а не только его постсоветской части, стала подспудным смыслом существования путинской России. Война, согласно той же извращенной логике, должна не столько «все вернуть на место» (к положению дел до 1991 года), сколько отменить само понятие «места», стереть различие между прошлым и будущим. Путинский режим буквально обезвреживает существование.

В этой варварской воронке, отменяющей Время, труднее всего сохранить остатки разума и надежды.

Благодаря современным средствам коммуникации сотни тысяч россиян, не смирившихся с диктаторскими планами, способны сегодня самостоятельно налаживать горизонтальные связи и делиться правдивой информацией. Сознание инстинктивно ищет опоры (ради чего жить); сбежавшая от тирана часть общества – физически или ментально, во внутреннюю эмиграцию – находит сегодня смысл существования в том, чтобы напоминать о преступлениях режима или хотя бы не замарать себя участием в них.

Разум пытается осмыслить катастрофу – однако сама бойня противоречит самому понятию смысла, и эмоции берут верх. Петербургская писательница Наталья Соколовская дала горькое определение нашему нынешнему эмоциональному состоянию: «постсмерть». Мы все теперь обречены жить с выщерб-

¹ В тексте использованы отрывки из материалов, опубликованных ранее автором на сайте Радио Свобода.

ленным сознанием; немыслимость случившегося становится константным состоянием ума. Мы вынуждены жить, сознавая дьящий кошмар – не имея возможности справиться с ним. Каждый день мы взбираемся по ступенькам рациональности, пытаюсь привести себя в «норму» – и каждый день обречены падать вниз, не имея опоры, приходя в отчаяние.

Непроработанное зло. Пост-советский человек и насилие

Как это могло случиться с нами? Как мы это допустили? В чем наша вина? – неотступные вопросы, которые преследуют каждого из россиян, в ком осталась совесть, стыд, сострадание. Для тех, кто имеет отношение к гуманитарным практикам, добавляется упрек к самим себе: чего мы *не* сделали, чтобы предотвратить катастрофу?

«...Одно государство, во много раз сильнее, вероломно нападает на другое – оправдывая себя ничтожными, не имеющими отношения к реальности причинами; бомбит мирное население, называя его одновременно “братским” и желая его “спасти”. Все это есть откровенный, лицемерный, беспримесный акт зла...» Примерно так, в толстовской манере «остранения», можно описать нынешнюю путинскую агрессию. Что может быть проще, чем применить эту формулу сегодня к варварской войне против Украины – чтобы оценить происходящее с позиции здравого смысла и одновременно осознать весь ужас, немыслимость происходящего? Однако приходится признать простой факт: подавляющее большинство российского населения не способно «так» рассматривать вещи, без идеологических подпорок; и дело тут не только в том, что плохо учились в школе. Суть в том, что русская цивилизация, русская культура десятилетиями – и увы, даже столетиями – игнорировала саму проблему существования зла.

Зло существует – причем в каждом из нас; человек должен быть своевременным предупрежден об этой опасности, должен быть готов к встрече со злом, уметь отличать добро от зла – это, в том числе, задача современной культуры. В советской идеологии проблема существования зла решалась примитивно и просто: зло имело социальное происхождение, а стало быть, эта проблема в «обществе социальной справедливости» решалась сама собой: простым снятием. Понятие зла массовизировалось, деиндивидуализировалось и целиком выносилось вовне – в мир капитала, за железный занавес. «Зло – это все, что снаружи», – вот установка советской идеологии. Преодоление животных инстинктов возлагалось на коллективное воспитание – игнорируя, так сказать, глубинный, метафизический уровень зла. Таким образом каждый советский человек по отдельности не был приучен к распознаванию и обузданию инстинктов насилия, заложенных в каждом из нас; не был готов к встрече со злом. Существует до сих пор представление о том, что советская культура «учила добру» – в противоположность западной культуре. Стоит развеять этот миф; это не «мир добра», а искусственно сконструированный инфантильный мир вечного детства, лишавший человека действительного знания о мире. В котором проблема зла не решалась, а игнорировалась, загонялась в бессознательное. Это можно обозначить в широком смысле как травму советского сознания. *Грубо говоря, советский человек не знал, что в нем есть зло, не приучен к работе со злом в себе.*

Таким образом, как только тоталитарная идеология пала, а внешние цензурные ограничения были сняты (после 1991 года), советский человек оказался со злом «один на один». Отмена внешних жестких рамок привела не к освобождению от травмы тоталитарного, а к высвобождению подвалов бессознательного: *непроработанное зло* вырвалось наружу. Поначалу постсоветская культура загоразживалась от решения проблемы нарочитой бравадой и внешним раскрепощением; затем *непроработанное зло* и вовсе совершило кульбит: оно приняло форму восхищения собой – в качестве уникального «кода национальной культуры», самой правоты, самой справедливости. Насилие надело маску добра (прямо по Джорджу Оруэллу). Этот ужасный перенос и стал ключевым аспектом постсоветской культуры, которая в итоге приучала гордиться «насилием ради высшей справедливости, ради самой правды». Так, например, переняв технические приемы формы Голливуда, российское кино полностью исказило его этику: вместо того чтобы *предупреждать о зле*, наше кино восхищалось насилием, упивалось смертью, заигрывало с бездной – вспомним хотя бы фильм «Батальонъ» (2015). «Слабых бьют, сильный бьет первым» – все эти нехитрые дворовые установки, транслировавшиеся из самого Кремля, переплавлялись в произведения массового искусства соответствующего содержания.

Лестница самообмана. Ложно понятый постмодерн

Игровое сознание – ложно понятый в России смысл эпохи постмодерна – также ключ к пониманию причин катастрофы. Для пост-советского сознания постмодерн стал символом «относительности всего» и, что самое ужасное, – относительности добра и зла. Постмодерн был понят в России не как усложнение мира, не в качестве взывания к большей личной ответственности каждого – а напротив, как самоосвобождение от совести, ответственности, серьезности по отношению к чему-либо. Как позволение играть ключевыми этическими категориями. Как буквальная реализация формулы Достоевского «все позволено».

Искаженное представление о постмодерне сняло с нас в том числе и «ответственность за судьбу мира» – как бы это высокопарно ни звучало; хотя граждане страны, обладающей огромным ядерным потенциалом, должны были бы ощущать эту ответственность более, чем другие. Наличие смертоносного оружия привело нацию к обратному – к слепой бравате и, опять же, к заигрыванию со смертью. Быть потенциальной угрозой миру – и наслаждаться этой ролью; такой параноидальный «смысл существования», пусть и неосознанно, устраивал большую часть российского населения. Игра в смерть, заигрывание со злом – вот чем обернулся наш «постмодерн». Искаженное понимание новой реальности наложило на экзистенциальное равнодушие, легитимировав таким образом персональную безответственность, присущую советскому и постсоветскому человеку.

«Ничто не всерьез» – а значит, все поправимо, все можно отыграть назад. Путинский режим поддерживал эти иллюзии, это общее «игровое состояние ума» для своих целей – чтобы разжигать мораль, чтобы обесценить любые универсалии; чтобы нам легче было обманывать самих себя. Войне предшествовал невиданный моральный коллапс в России. Каждый из нас все эти годы ис-

кал и находил для себя удобную нишу для самооправдания. Ее можно представить в виде условного внутреннего монолога: «Допустим, моя позиция соглашательская, но я иду на гораздо меньшие компромиссы, чем мой коллега или мой начальник. Потому моя совесть не то, чтобы чиста – но чище, чем совесть других». Начальник или коллега, в свою очередь, думал то же самое о своих вышестоящих начальниках («я совершаю меньшее зло, чем они»). И эта лестница самообмана протянулась до самого верха. Практика предпочтения «меньшего зла» привела в итоге к простому умножению зла.

Неспособность к распознаванию зла в себе и окружающем мире – так мы можем обозначить ключевую проблему постсоветского сознания, приведшую в итоге к катастрофе. Непроработанная проблема зла, неузнавание зла в себе приводит к нераспознаванию зла и в действиях собственного государства.

Неспособность понять, что государство без общественного контроля есть лишь инструмент зла. Неготовность противостоять злу, наконец. История наказала нас за моральную близорукость, преподав нам ужаснейший из всех возможных уроков: она столкнула нас с путинской войной – чистым, беспримесным злом – уничтожающим сейчас тысячи безвинных жизней. С горькой усмешкой история ныне *обнажила зло* во всей его крайней непристойности.

«Быть вне политики». Коллективная ответственность россиян

Можно ли было исправить эту экзистенциальную инфантильность постсоветского общества, что называется, «на ходу», в течение последних двадцати лет?..

...В отличие от нацистской Германии или других тоталитарных режимов XX века, в путинской России не было упоения диктатором. Все, в общем, понимали ему и его режиму цену – но пытались его «пережить» или «переждать». Кремль также искусно подыгрывал этим настроениям, имитируя свою инерционность, засыпание, свой застой и старение. Мы верили в инерцию режима – мысленно перекладывая ответственность на законы истории (в своем роде привычка мыслить марксистскими догмами – только с обратным знаком, применительно к демократии). Мы передоверили перевоспитание путинского режима «исторической неизбежности» – которая все сделает сама. Понадеялись на крота истории, который «роет медленно». Этот крот, как выяснилось, без призора рыл нам всем, человечеству, могилу.

Альтернативой этому сползанию к катастрофе могло стать массовое участие россиян в политике. Небольшая часть людей, прежде всего активных горожан в столицах и крупных городах, после протестов 2011–2012 годов включилась в эту работу, однако в итоге этих усилий оказалось ничтожно мало. Сыграло роль традиционное, увы, для России отсутствие связи между личным нравственным переживанием (мораль, совесть, ответственность, правда, стыд – понятия, которые, несмотря ни на что, имеют вес в русском лексиконе и в сознании) – и поступком. Большинство жителей России на протяжении пост-советского периода (в отличие от украинцев, которые сохраняли в себе все эти годы «дух 1991 года») так и не научилось переплавлять личное нравственное переживание в осознанное коллективное (политическое) действие, чтобы изменить само каче-

ство своего существования. Путинский режим воспользовался этим для того, чтобы «защитить», притупить и без того слабые политические инстинкты, появившиеся в России 1990 годы.

Кремль не просто массово фальсифицировал выборы – это, в конце концов, не его открытие. Ноу-хау режима состоит в том, что он дискредитировал самое понятие «политика», «политическое» – в качестве того, что принадлежит людям. В качестве альтернативы Кремль предложил большинству пилюлю равнодушия, неучастия, бесчувствия. Режим в течение 20 лет легитимизировал и всячески пестовал *аполитичного гражданина*. И даже больше – формировал «до-политического человека», еще менее политичного, чем, скажем, в 2000-е или в 1990-е, навязав обывателю тип существования «я-вне-политики».

Поскольку в России само понятие политического затемнено, приходится напомнить, чем политика является сегодня. Немецкий философ Ханс Йонас («Принцип ответственности», 1979 год) писал о том, что сегодня задача человечества сводится не столько к тому, чтобы «желать лучшего», сколько «не допустить худшего» – учитывая, опять же, сколько ядерного оружия накоплено в мире. В этом смысле участие в политике в XXI веке имеет еще большее значение, чем в предыдущие столетия: оно критически важно для сохранения жизни на земле. Именно поэтому политика – как инструмент влияния на власть – в XXI веке есть наиболее выпуклое выражение коллективного «нравственного действия», а не просто «технического» контроля за соблюдением принципа сменяемости власти, гражданскими правами и свободами и т.д. С этой точки зрения «неучастие в политике» («могли, но не предотвратили, не помешали, бездействовали») более не невинно. Политическое равнодушие, как мы можем наблюдать на примере путинской России, – причина нового фашизма.

Вопрос о коллективной ответственности россиян за войну, развязанную путинским режимом против Украины, остается одним из самых дискутируемых. Российские интеллектуалы чаще всего в этом случае ссылаются на двух признанных авторитетов – Ханну Арендт и Карла Ясперса, предостерегая от того, чтобы сваливать виновность «в одну кучу». Действительно, Арендт в эссе «Личная ответственность при диктатуре» (1964) пишет: «Вина и невиновность имеют смысл только в отношении отдельной личности»². Однако в другом своем тексте, «Коллективная ответственность» (1968), Арендт утверждает: «Никакие моральные – индивидуальные и личностные – нормы никогда не снимут с нас коллективную ответственность. Это наша плата за тот факт, что мы живем не сами по себе, а среди других людей...», и ответственность такого рода «всегда носит политический характер»³. Ясперс, рассматривая четыре категории виновности – уголовную, моральную, метафизическую и политическую («Вопрос о виновности», 1965), также определяет коллективную виновность как *политическую* (по Ясперсу, она означает «принадлежность к гражданам определенного государства, в силу чего я должен расплачиваться за последствия действий этого государства, под властью которого нахожусь и благодаря укладу

² Арендт Х. Личная ответственность при диктатуре / пер. с англ. Р. Гуляева. В кн.: Она же. Ответственность и суждение. М.: Изд. Института Гайдара, 2013. С. 60.

³ Она же. Коллективная ответственность / пер. с англ. Д. Аронсона. В кн.: Там же. С. 216.

которого существую»⁴). Как мы видим, оба классика сходятся на том, что единственный вид коллективной ответственности/виновности – политический. Причем, по Ясперсу, вина политическая и моральная во многом переплетаются: «Неучастие в формировании уклада власти, в борьбе за власть в смысле служения праву есть главная политическая вина, являющаяся в то же самое время и виной моральной»⁵.

Таким образом, отвечая на вопрос: «Несут ли россияне коллективную ответственность за зло, совершаемое сегодня режимом?» – следует ответить: «Да, несут», – а саму эту ответственность следует называть политической. Это расплата за то, что большинство считало для себя возможным быть «вне политики», расплата за политическое несовершеннолетие. Правда, нам напомнят, что в гибридных режимах выборы зачастую являются имитацией, а потому участвовать в них бессмысленно. Но в таком случае само лишение политического выбора должно было бы вызывать несогласие общества. Однако – не вызвало. Вероятно, мы можем сформулировать своего рода закономерность, пропорцию нашего времени: коллективная ответственность тем более применима к целому обществу, чем менее его акторы являются личностями в политическом и моральном смысле.

Покаяние. Точка сборки другой России

Карл Ясперс и Ханна Арендт писали свои тексты о коллективной ответственности и виновности немцев после того, как агрессор был наказан и повержен. Наша ситуация иная: мы живем во времена, когда российский диктатор продолжает игнорировать человеческое, угрожая низвергнуть в ад уже весь мир целиком. Развязанная Путиным война нанесла удар по самой нашей этике: ни для кого из россиян нет сегодня «хорошей» моральной позиции. Как нация мы отныне лишены правоты (в том числе и «исторической правоты», ключевого концепта советской и российской пропаганды после 1945 года).

В глазах мира все мы будем считаться гражданами государства-агрессора – даже те, кто пытался не допустить катастрофы. Обсуждать несправедливость такого отношения, настаивать на «индивидуальном подходе» – сегодня представляется аморальным.

Мы заставляем себя думать о будущем, которое неизбежно наступит; о будущем, в котором Украина выстоит и победит; в этом нет сомнений. Помогать сегодня Украине всеми возможными способами – наш моральный долг. Однако несмотря на сопротивление тысяч одиночек, массовым протест против войны в России назвать нельзя – даже спустя полгода после начала агрессии. Россияне в подавляющем большинстве своем *молчаливо* позволили злу совершаться, происходить – и это еще один пример чудовищной незрелости, инфантильности нашего общества. Об этом «позволении злу совершаться»

⁴ Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности в Германии / пер. с нем. С. Апта. М.: Прогресс, 1999. С. 18.

⁵ Там же. С. 21.

говорил неоднократно в своих выступлениях президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к россиянам.

Общество, опрокинутое в архаику, в бесчувствие, в безмолвие, наконец; такое общество следует признать несостоявшимся и несостоятельным, по меркам XXI века – несмотря на его экономический и человеческий потенциал. Виной тому в первую очередь – путинский режим, который нашел себя, свой смысл существования (и, к сожалению, сумел убедить в этом большинство населения) – в уничтожении других. Было бы наивно надеяться на изменения до тех пор, пока режим существует. Однако травма, нанесенная Украине, будет иметь для нас последствия, выходящие далеко за пределы существования этого режима. Нужно понимать, что за преступления Кремля предстоит расплачиваться нескольким поколениям россиян. Расплачиваться экономически – за ущерб, нанесенный соседней стране; расплачиваться политически и морально.

Рано или поздно перед российской нацией встанет вопрос покаяния – перед Украиной; это будет условием нашего возвращения в цивилизованный мир. Какие мы сможем найти слова? И сможем ли когда-нибудь заслужить прощение? Сколько понадобится времени для этого? При жизни нынешних поколений мы обречены на заслуженное презрение – со стороны украинцев. Само слово – Украина – отныне будет служить нам напоминанием о совершенном зле и вечным укором нашей совести. Тем не менее именно наша готовность к покаянию (как и готовность приложить все силы для восстановления Украины) будет означать точку сборки нас самих – заново, в будущем – в качестве цивилизованной нации, а не варваров. В этом случае нам предстоит долгий и мучительный путь; нам придется учиться человечности заново. Перепридумать в том числе собственные язык и культуру, заставив себя сойти с пьедестала исключительности, *особого пути*, как бы дарованной свыше априорной святости. Ибо все эти слова теперь имеют привкус смерти. *Они пахнут Бучей* – и другими преступлениями, совершенными в Украине путинским режимом.

Когда бы и в какой форме ни произошли перемены в России, без глубинного нравственного перерождения – и покаяния, принятия вины за совершенные государством преступления в Украине – у российской нации нет будущего.

СЕРГЕЙ ЗЕНКИН

Ремесло заложника

Во время Первой мировой войны некоего британского литератора строго спросили: «Почему вы не на фронте, не сражаетесь за цивилизацию?» Он ответил: «Потому что я и есть та цивилизация, за которую сражаются».

Кто именно сказал эти слова, неизвестно: молва приписывает их то, чаще всего, оксфордскому филологу Х.У. Гарроду, то ирландскому писателю лорду Дансени, то У.Б. Йейтсу, то Джорджу Бернарду Шоу...¹ В любом случае это очень многозначительный ответ, где английский юмор сочетается с серьезной идеей. С одной стороны, говорящий иронизирует над высокими словами, которыми оправдывали мировую бойню. На самом деле, дает он понять, в этих словах нет ничего сакрально-сверхчеловеческого, «цивилизацию» может воплощать даже вот этот приватный господин, – и что, за него правда стоит сражаться, да и что, собственно, ему грозит? С другой стороны, он выбирает себе какую-то нетривиальную роль в истории – не то чтобы вовсе независимую от происходящего, но обособленную; необходимую на войне, но не совсем военную. Он не труженик тыла, не патриарх-пенсонер и не мать семейства, кого естественно было бы защищать, а писатель, интеллектуал, человек *культуры*, которую можно назвать и *цивилизацией* (правда, именно в 1914 году эти два слова были лозунгами врагов – соответственно Германии и Антанты). Он не только не мобилизуется на фронт, но и в тылу ничего не делает для победы – не славит отечественное оружие, не подбадривает робких, не клеймит позором врагов; в сумятице сражений он хранит гордую неподвижность. Его позиция экстерриториальна и анахронична, словно какой-то ненадежный островок мира во время войны: люди вокруг поглощены настоящим, развитием боевых действий, а он связывает себя с наследием прошлого, источником культуры или цивилизации. Оттого он иронизирует еще и над самим собой – странным парадоксалистом, живущим не как все, буквально не от мира сего. Его фраза может показаться дерзко-самонадеянной: нужно очень много на себя взять, чтобы приравнять себя к целой культуре, фактически отделяясь от собственных соотечественников, которые всего лишь «защищают» ее. Но, если вдуматься, культуру или цивилизацию действительно образуют прежде всего не мертвые памятники, а живые люди, которые ведут себя в соответствии с нею, и первый долг интеллектуала заключается именно в том, чтобы сознавать себя таким.

Ту же позицию можно определить и иначе, когда «культура», противостоящая военному разорению, помещается не в прошлом, а в послевоенном будущем: ее следует не просто защитить, но восстановить заново, отстроить по уму. Об этом размышлял Антуан де Сент-Экзюпери уже в разгар следующей, Второй мировой войны. Сам он – военный летчик, солдат, сражающийся за свою роди-

¹ См.: <https://quoteinvestigator.com/2015/11/09/i-am/> (дата обращения: 15.12.2022)

ну, за свою «духовную культуру – наследницу христианских ценностей»²; но он все время помнит о других людях – мирных жителях, которые остаются под оккупацией, в захваченной врагом стране. Он не просто стремится освободить их, но и ставит их нынешнюю миссию выше своей собственной, признает их *основанием* цивилизации: «Сейчас не мы создаем Францию. Мы только можем ей служить. [...] Не измерить одной мерой свободу битвы и гнет в тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника»³.

Сегодня слово «заложник» обычно понимают в упрощенном значении, только в связи с бандитскими или террористическими нападениями; так называют случайную жертву насилия, разве что отложенного. Собственно, и Сент-Экзюпери, употребляя это слово, имел в виду прежде всего реальные казни заложников, которыми нацисты запугивали население Франции. Однако он помнил и другое понятие «заложник» – древнее, богатое смыслом. В традиционных обществах оно означало людей, которые принудительно или добровольно предавались в руки иноплеменников как живой *залог* политических отношений с ними. Об этом напоминает этимология: например, французское слово *otage* и английское *hostage* (заложник) происходят от латинского *hostis* (ср. русское «гость»), которое могло означать и «врага», и просто «чужеземца». Быть заложником – почетная обязанность, ее часто возлагали на знатных людей, которые «гостили» среди чужого народа, пользуясь его уважением. Правда, в случае конфликта, разрыва отношений их жизнь оказывалась под угрозой, то есть они были не только послами, но и возможными жертвами, без всякого дипломатического иммунитета. Их инородное и уязвимое положение придавало им уникальную символическую ценность: они непосредственно, собственной персоной воплощали то общество, ту традицию, выходцами из которых были.

После февраля 2022 года народ России иногда называют «заложником» в пассивно-извинительном смысле: он-де не отвечает за себя, потому что беспомощен перед властью и покорно усваивает ее ложь («стокгольмский синдром»); так же пытаются оправдывать и чиновников с «либеральной» репутацией, продолжающих работать на правящий режим («он/она в заложниках»). Но в том-то и дело, что у заложничества есть еще другой, активный смысл, оно бывает осознанным «ремеслом», и это зависит от временной перспективы, в которую оно вписано: пассивное заложничество приковано к настоящему, к неотложным задачам выживания, а активное направлено в будущее, когда придет время восстанавливать разрушенное войной. У него есть также и пространственный смысл: быть представителем мировой цивилизации, от которой сегодня пытаются отгородить и оторвать Россию и куда ей предстоит трудно возвращаться.

В таком значении «заложник» может оказаться едва ли не синонимом «гражданина» – гражданина своей страны и гражданина мира, – и именно этим понятием, во всей его неоднозначности, описывается нынешнее положение

² де Сент-Экзюпери А. Военный летчик / пер. с франц. А.Н. Тетеревниковой. В кн.: Он же. Сочинения. М.: Книжная палата, 2000. С. 303.

³ Он же. Письмо заложнику (1943) / пер. с франц. Н. Галь. В кн.: Там же. С. 326. В оригинальном тексте – «nous ne fondons pas la France», буквально «мы не основываем Францию».

ние мыслящих людей России, тех, кто связывает ее и свою собственную судьбу с культурой Запада, «наследницей христианских ценностей». Во всяком случае иных, более подходящих названий для подобных людей пока не придумано – не вспоминать же всеми осмеянных «хороших русских»... Кроме них, некому сейчас отстаивать ни русскую культуру прошлого, которую сегодня чуть было не решили «отменить», ни «прекрасную Россию будущего», которая кажется менее осуществимой, чем когда-либо. Они застряли в смутном настоящем, «гостят» у него в плену – заложники не вечности, по красивому выражению поэта, а какого-то иного, еще плохо определенного времени и пространства.

Исторические аналогии лишь отчасти описывают их ситуацию. Война 1914 года была для Британии империалистической, но хотя бы не агрессивной, и нынешний российский гражданин находится в более трагическом положении, чем тогдашний парадоксалист, – ему не до шуток. Сколько бы он мысленно ни солидаризировался с европейской цивилизацией, ему трудно заявить «на фронте сражаются за меня», потому что его государство воюет против этой цивилизации, а защищает ее, опираясь на международную поддержку, армия другого, чужого государства, которой нет никакого дела до таких, как он (у нее свои, совсем иные заботы). Не очень годится в качестве аналогии и историческая ситуация Сент-Экзюпери: Россию не оккупировал внешний захватчик, а ее население – если, конечно, верить некоторым опросам – само в большинстве поддерживает политику правительства, то есть, как ни крути, ответственно за нее; впрочем, и население Франции в значительной части одобряло коллаборационизм маршала Петена. Для тех, кто эту политику отвергает, была заранее придумана унижительная кличка «иностранные агенты»: не политические оппоненты, не внутренние враги, как на гражданской войне, даже не шпионы (почтенная профессия в стране, руководимой офицером тайной полиции), а какие-то мелкие «национал-предатели», безответственные марионетки, которых дергают за ниточки из-за рубежа. Военно-патриотическая пропаганда десятилетиями внушала, что, когда льется кровь, нужно обязательно быть за «своих», иначе станешь чужаком, инородным телом. Подобно заложникам террористов, многие оказались в такой роли невольно и непредвиденно – жили себе, работали, и вдруг вся жизнь вокруг приняла какой-то чудовищный вид, словно вывернулась наизнанку. Некоторые поспешили уехать за границу, другие остались, сознательно или в силу обстоятельств (и все равно, возможно, временно); иногда между теми и другими вспыхивают нелепые перепалки, как будто гражданский долг зависит от географического местожительства, как будто человек не отвечает за страну, в которой вырос, где бы он ни находился сейчас.

Но что же это за долг, и в чем состоит ремесло заложника?

На первый взгляд, он мало что может сделать, обречен ждать сложа руки, пока его судьба переменится. Оставаясь дома, он беззащитен перед репрессивной машиной, а находясь за рубежом – скомпрометирован своей связью со страной-агрессором. Никем не уполномоченный, не отряженный для своей миссии, он не может служить послом и переговорщиком, его не признает таковым ни одна сторона в конфликте. Авторитарная власть не дает ему служить колониальным миссионером или «прогрессором» – положительным «иностранным агентом», наставляющим местное население на путь истины.

Заложнику вообще запрещено слово – во всяком случае, слово политическое, обличающее и направляющее: пространство публичной речи заполнено грохотом идеологических глушилок, а попытки самостоятельно высказываться в нем пресекаются арестами, штрафами, теперь уже и тюремными приговорами. Воспроизводится немота, к которой принуждены чужеродные, неполноправные элементы общества и о которой писал Мишель Фуко, объясняя древнегреческое понятие «парресья», «говорение правды»: «Когда живешь в своем собственном полисе, можно говорить; но, когда ты не в своем полисе, у тебя нет парресьи. [...] При этом тот, у кого нет парресьи, вынужден терпеть глупости хозяина, его безумие...»⁴. Сегодня, правда, все перевернулось наоборот: свободно говорить правду может скорее эмигрант – только много ли кто его услышит? – тогда как живущему в своей собственной стране приходится молчать и «терпеть глупости хозяина», его воинственное безумие. У себя на родине он оказался в «чужом полисе».

Оттого слово заложника лишь иногда звучит открыто и часто избегает прямых политических выводов. Дело тут не только в цензуре, подкрепляемой доносами, но еще и в том, что в военной обстановке прямая политическая дискуссия вообще бесплодна. Верно говорят, что предметом ее оказывается не истина, а идентичность, когда люди мысленно спрашивают себя не «кто прав?», а «кто здесь наши?». Поэтому политическое слово неспособно кого-либо переубедить, оно самое большее подкрепляет уже сложившуюся готовность поддерживать тех, а не других, – чем и пользуется государственная пропаганда, апеллируя не к критическому разуму людей, а к их чувству национальной общности. Конечно, это чувство не застыло раз навсегда, оно постепенно изменяется, коллективная идентичность пересоздается – но не в дискуссиях, а в силу событий, происходящих вокруг. Убеждать можно лишь тех, кого уже переубедила жизнь.

Сегодня, чтобы быть услышанным не только единомышленниками, говорить приходится не о политике как таковой, а о текущей жизни, о морали и опять-таки о культуре. Действительно, культура – это не только музеи и концерты, это еще и, например, язык, умеющий называть вещи своими именами. Сейчас он находится под гнетом цензуры и пропаганды, которые запрещают произносить точные слова и насаждают вместо них другие, уклончивые слова-симулякры: «внешние ограничения», «дискредитация», «специальная операция». Последнее выражение – это главная ложь, от которой государство никак не отступится (даже сейчас, в октябре 2022 года): запрет называть войну войной, замена всем известного слова убогим эвфемизмом. Смысл такого табу не только в преуменьшении масштаба событий (словно «хлопок» вместо «взрыва»), но еще и в том, что операцию – все равно какую, военную или хирургическую – оценивают только по ее эффективности: успех или неудача. А для войны есть еще и иной, нравственный критерий – справедливая она или нет, в своей стране или в чужой, за свободу или за добычу. Дело сознательного заложника – противиться эвфемизмам и всеми возможными способами напоминать истинные слова, означающие, что у нации есть не только интересы (которые еще надо правильно

⁴ Фуко М. Речь и истина: Лекции о парресьи / пер. с франц. Д. Кралечкина. М.: Дело, 2020. С. 36.

понимать!), но и моральные обязанности. Именно этим цивилизованная нация отличается от дикой, а защита цивилизации предполагает защиту языка от искажений – недаром автором легендарной фразы «я и есть цивилизация» был профессионал слова, то ли писатель, то ли филолог.

Слово заложника – тихое, даже когда произносится прилюдно, и в этом есть свое преимущество: это позволяет высказывать нечто существенное, что только так и можно высказать. Во всеуслышание изрекаются инвективы, пророчества и призывы, нередко односторонние, порой просто ложные, независимо от благих намерений говорящего. Напротив того, голос совести всегда звучит негромко, и голос разума чаще всего тоже. Сегодня, когда многие люди вокруг, оправданно или нет, срываются на крик, лишь в таком сдержанном тоне можно говорить об их объединении. Нет, не о всеобщей, неразборчивой терпимости: от тех, кто прямо замешан в злодеяниях, кто осквернен их поддержкой и выслуживается ею перед начальством, приходится отстраняться, и средством для этого может служить, например, цеховая солидарность. Сообщества знающих и умелых, ученых, творческих людей – людей культуры – по-прежнему существуют и способны как минимум говорить «нет» и не подавать руку тем, кто предаст свою профессию ради конъюнктурной выгоды. Но если все-таки думать не только о настоящем, но и о будущем, то для него важнее не борьба с противниками («политика» по Карлу Шмитту), а поиски союза и согласия вопреки холодной гражданской войне, которая вытесняет всякую разумную мысль игрой на чувстве идентичности («ты наш или нет?») и провоцирует разрывы даже между близкими, родными людьми. Сохранять стойкость в своих убеждениях, не поддаваясь соблазну слепой непримиримости, не умножая иррациональную ненависть, – это тоже способ противостоять войне, разобщающей людей.

Слово заложника часто звучит одиноко и некстати. Многие его соотечественники, считая себя бессильными что-либо изменить в происходящем, пытаются вообще не думать о нем, вытесняют его из сознания – а официальная пропаганда им в этом содействует, подменяя реальность приукрашенной телевизионной картинкой. Они готовы даже пировать во время чумы, закрывая на нее глаза, наивно уверяя друг друга, что «все будет хорошо». Напоминание о войне кажется им столь же неуместным, как напоминание о смерти (которая ей, собственно, сродни), и напоминающий оказывается в роли *trouble-fête*, того, кто портит праздник, – словно старый священник в трагедии Пушкина. Так получается именно оттого, что он озабочен не настоящим, а будущим – тем еще далеким днем, когда люди, сегодня называющие друг друга либо «купленными», либо «зомбированными», должны будут наконец честно объясниться между собой: и те, для кого быть патриотом означает упорствовать в войне до конца, и те, кто тоже из патриотизма требует ее прекратить. Ремесло заложника состоит в том, чтобы работать ввиду этого будущего момента истины, о котором еще мало кто думает и до которого он сам может и не дожить, – тогда объясняться и договариваться придется уже следующему поколению.

Непонимание грозит ему и у людей соседней страны, которая поневоле сделалась противницей России, несет тяжелые потери и мужественно противостоит агрессии. С их точки зрения забота не о настоящем, а о будущем может показаться уклончивой позицией «над схваткой», едва ли не коллаборационизмом, а само имя «заложник» – неправомерно присвоенным. Они могут сказать

(иногда примерно так и говорят): это не вы заложники, а мы, наши мирные женщины и дети, которых вы убиваете. С такими суровыми словами нельзя спорить; на них можно отвечать лишь собственным поведением, не боясь оставаться в меньшинстве, мало кем одобряемом, – и надеяться, что однажды настанет время, когда солдат с одной и заложников с другой стороны фронта признают стоявшими, пусть и по-разному, за одно общее дело.

Вообще, главный долг, главная служба заложника – особого рода моральная аскеза. Она требует даже не столько что-то особенное делать или говорить, сколько *быть*, хранить свою особость как залог цивилизации. Это выражается емкой метафорой – *держатъ лицо*. Эмманюэль Левинас писал, что лицо – зримое проявление инаковости и неподвластности: «Здесь перед нами отношение не мощного сопротивления, а чего-то абсолютно *Иного*: это сопротивление того, что не оказывает сопротивления, – сопротивление нравственное»⁵. Лицо бывает только у человека; его нет у животных, а война отнимает его и у людей – на нынешней, еще с 2014 года, солдаты часто скрывают свои лица и личные имена (или это делают за них репортеры и редакторы). Тем более необходимы сейчас те, кто не поддается обезличиванию, кто сохраняет лицо если не на фронте, то в тылу, пусть даже для всего света это тыл врага. Лицо бывает – обязательно, по определению – у *свидетеля*, чей опыт будет востребован лишь впоследствии, и свидетельствовать – это тоже одна из функций заложника, который смотрит на окружающих одновременно и вблизи и отстраненно и умеет рассказать о своем опыте. Опираясь на этот опыт, он, возможно, станет для кого-то советчиком.

У «лица» есть и буквальный, неметафорический смысл, знакомый всем по повседневному общению. Многие человеческие контакты завязываются через мимику, взгляд, улыбку – когда люди, даже без всяких слов, опознают друг в друге подобных себе, объединенных общими чувствами, возможных единомышленников. Милитаристское государство недаром стремится ликвидировать или жестко контролировать места, где можно встретиться и увидеть друг друга: сначала это были только политические митинги, потом очередь дошла и до передовых театров. Собрание людей, видящих лица и опознающих друг друга, – это зачаток социальности и гражданственности, в отличие от толпы, где никто не смотрит другим в глаза и все обезличены общей (часто еще и низкой) страстью. Такого взаимного предстояния лицом к лицу не заменят Интернет и электронные системы видеосвязи, к которым всех приучила недавняя пандемия, – в них можно видеть не живых людей, а только их бесплотные, нигде не укорененные образы. Поэтому с точки зрения политики, в плане настоящего нужно, чтобы в стране оставались – насколько это возможно – свободные граждане, демонстрирующие соотечественникам свое лицо, как корабли на море демонстрируют флаг; их положение выгоднее, чем у тех, кто может показывать себя лишь издалека, и, выполняя эту обязанность личного присутствия, некоторые политические борцы не остановились даже перед прямой угрозой тюрьмы. Но с точки зрения цивилизации, в перспективе будущего не столь существенно,

⁵ Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное / пер. с франц. И.С. Вдовиной. М., СПб.: Университетская книга, 2000. С. 204.

кто где находится, потому что исторически все в одном положении: не отдельные люди, а вся национальная культура должна осознать свой долг, она сама подобна заложнице, и ей надо теперь держать, сохранять лицо.

Левинас писал, что лицо – форма «нравственного сопротивления»; и действительно, общественная жизнь в стране перешла в режим Сопротивления, диффузной, для кого-то просто подпольной деятельности, почти лишенной открытого политического представительства. Когда оппозиционные политики сидят за решеткой, изгнаны из страны или принуждены к молчанию, гражданин должен представлять сам за себя, в тех пределах, в каких он может это сделать, – словом, мыслью, поступком, упорным присутствием ввиду других. Когда-то, как в «Марсельезе», граждан звали к оружию, нынешнее же Сопротивление мирное, и, пока в страну не вернулась публичная политика, его оплотом остаются мораль и культура. Это не то же самое, что называют «внутренней эмиграцией»: заложник не скрывается, он заявляет о себе лицом и словом; у него остаются еще и кое-какие формы действия, например антивоенное волонтерство (помощь беженцам, жертвам репрессий); есть и смелые люди, кто выходит на протест и подвергается преследованиям. Все это само по себе не остановит войну, но помогает сберечь смыслы, те истинные ценности, которые понадобятся позднее, когда война закончится. Суть Сопротивления и миссия сознательного заложника именно в этом: помнить, что в трагической и позорной истории, куда попали люди России, есть не только настоящее, но и будущее, оно непременно наступит и о нем уже сейчас стоит заботиться.

В «Письме заложнику» Сент-Экзюпери предрекал, что новое осмысление жизни должно прийти из глубины унижения, которое терпит оккупированная страна: «Вас сорок миллионов, и все вы – заложники. Новые истины всегда вызревают под гнетом во мраке подземелий: там, во Франции, в сознании сорока миллионов заложников, рождается сейчас новая истина»⁶. Исторически случилось именно так: в годы Сопротивления (в котором морально участвовали не только партизаны и подпольщики, но и многие сочувствовавшие им люди) Франция пережила подъем интеллектуальной и художественной культуры и, несмотря на военный разгром 1940 года, восстановила свой мировой авторитет благодаря силе своих идей. Сегодня русскую культуру иногда винят в сообщничестве с империалистическим государством; правда состоит в том, что она не сумела удержать страну от сползания к катастрофе. Осознав свое достоинство заложницы, она сможет отстоять себя как часть мировой цивилизации, заслуживающая того, чтобы ее защищать.

⁶ Антуан де Сент-Экзюпери. Цит. соч. С. 326.

МАРИЯ МАЙОФИС, ИЛЬЯ КУКУЛИН

Эмпрессия вместо идеологии

1. Вторжение в Украину и Вторая мировая война: границы применимости аналогий

Беспрецедентные, шокирующие исторические события часто вызывают у современников потребность найти для происходящего сколько-нибудь пригодные исторические аналогии – чтобы не чувствовать себя совсем уж одинокими и лишенными ориентиров. Так, критически настроенные свидетели большевистской революции и Гражданской войны (по сути, эти события были частями одного социально-политического процесса), понимая, что присутствуют при уникальном по своим масштабам и прежде невиданном катаклизме, находили опору в параллелях, например, со Смутным временем – как с периодом в своем роде образцовой для русской истории междоусобицы, задававшей, как тогда могло показаться, рамку понимания для всех последующих масштабных гражданских противостояний. Своей статье в сборнике «Из глубины. Статьи о русской революции» П.Б. Струве предпослал два эпитафия, первый – из грамоты возглавлявшего в период Смутного времени русскую православную церковь патриарха Гермогена: «Божиим попусшением за бесчисленные наши всенароднаго множества грехи над Московским Государством на всей Великой Российской земли учинилась неудобьсказаема напасть». Вторым эпитафием был фрагмент из грамоты ярославцев вологжанам 1612 года, относящийся к тому же периоду, что и грамота Гермогена.

Сегодняшняя война России против Украины вызывает у наблюдателей – как с украинской, так и с российской стороны, да и в целом в других странах – аналогии прежде всего со Второй мировой войной. Эти аналогии вызваны в том числе особенностями исторической психологии: российская агрессия вызвала кризис мирового порядка, кризис, какого не было со времен Второй мировой войны, и сопровождается актами беспрецедентной жестокости по отношению к мирному населению, которые имеют явные параллели с преступлениями нацистской армии и «силовых структур» (СС, гестапо) в оккупированной Восточной Европе. Очевидно и то, что радикальные российские пропагандисты готовы применять риторику, оправдывающую геноцид по отношению к украинцам как культурно-исторической общности, подобно идеологам нацизма, которые оправдывали геноцид евреев и славянских народов на территориях, подконтрольных Германии. Есть и другие причины: например, в отличие от Первой мировой войны и сходно со Второй, у российской агрессии есть очевидный инициатор – Владимир Путин. Кроме того, война сопровождается масштабной пропагандистской (и очень лживой) кампанией со стороны России, а боевые действия часто разворачиваются в тех же местах Восточной Украины, где шли сражения и во время Второй мировой войны; эта последняя аналогия особенно часто используется российскими военными пропагандистами, такими, как Александр Коц или Алексей Чадаев, которые отождествляют современную Россию с Советским Союзом, а Украину – с Третьим Рейхом.

Однако, если отложить в сторону ламентации российских пропагандистов, явно опирающихся на созданный в современной России культ «победы в Великой Отечественной войне», эти параллели оказываются необходимы прежде всего для извлечения исторических уроков на будущее. Период Второй мировой войны и последующие несколько лет были использованы многими западными интеллектуалами – включая немецких, находившихся в подполье или в эмиграции – для выработки программы нового гуманизма. Эта программа была призвана помочь в преодолении последствий нацизма и наступления авторитарно-консервативных сил в Европе 1930-х годов. Над созданием подобной программы работали прежде всего философы-экзистенциалисты (А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс и некоторые другие), а также целый ряд писателей, кинорежиссеров, художников, богословов, придумавших концепции «теологии после Холокоста» – в которых они в ряде случаев ориентировались на тексты Д. Бонхеффера, написанные еще во время войны. Свои варианты гуманистических программ предлагали и авторы идеи welfare state и ее немецкого аналога – ордолиберальной экономики.

Все они так или иначе говорили о ценности и уникальности каждой человеческой жизни и о том, что частный человек во время катастрофических событий нуждается в жалости и понимании.¹ Сегодня, когда в ответ на российскую агрессию в Украине и откровенные угрозы российских политиков в адрес западного мира в целом во многих странах начались процессы, напоминающие националистическую мобилизацию времен Первой мировой войны, это наследие нового гуманизма оказалось поставлено под вопрос. По-видимому, сегодня необходимо «переизобретение» гуманистических программ, на основе уже не экзистенциалистской или ордолиберальной, но современной постмодернистской мысли – и здесь опыт интеллектуалов 1940-х годов дает не готовые ориентиры, но скорее основания думать, что такое переизобретение возможно даже в самой отчаянной ситуации.

Тем не менее у параллелей нынешней ситуации со Второй мировой войной есть границы применимости, так как война России против Украины все-таки далеко не во всех аспектах напоминает события восьмидесятилетней давности. Предмет обсуждения в этой статье – именно те особенности происходящего сегодня, которые являются новыми или, во всяком случае, нивелируются при сравнениях действий российской верхушки с агрессией нацистской Германии против европейских государств в 1939–1945 годах. Мы предполагаем, что без понимания этих особенностей невозможно выработать и новую программу послевоенного гуманизма – останется только заниматься ментальным «реконструкторством», основанным на воображаемой стилизации реальности под 1943 или 1944 годы, как они видятся сейчас тому или иному «реконструктору».

¹ Впрочем, авторы перечисленных концепций обычно не распространяли этот императив на военных преступников.

2. Не «рашизм» и даже не «нашизм»

Несходство нынешней России с нацистской Германией состоит в совершенно ином характере связи политического режима и граждан. В Германии эта связь была опосредована прежде всего хорошо разработанной идеологией национал-социализма, представленной в книгах, статьях, радиопередачах, кинофильмах, речах политиков и т.д. У современного российского режима нет законченной идеологии, несмотря на то, что, по мнению политических аналитиков, летом-осенью 2022 года путинская администрация пыталась – и продолжает пытаться сегодня – выработать собственную идеологию на основе апокалиптически-конспирологических и радикально-ксенофобских построений Александра Дугина, Александра Проханова, Вардана Багдасаряна и Константина Малофеева. По-видимому, одним из важнейших каналов распространения этой будущей идеологии должен стать новый курс, который будет преподаваться в российских вузах под названием «Основы российской государственности». Будет ли такая идеология выработана или нет, а если да, то насколько она будет последовательной, сегодня судить невозможно, однако в любом случае уже сейчас очевидно, что последовательность событий в России совершенно обратная по сравнению с тем, что произошло в Германии в 1920–1930-х годах: нацисты пришли к власти, пропагандируя свою уже выработанную к тому времени идеологию, которая предполагала милитаризацию и возобновление военной агрессии (Гитлер об этом писал еще в книге «Моя борьба», изданной в двух частях в 1925–1926 годах); здесь же режим сначала начинает войну, а потом, только через полгода после ее начала, пытается выработать идеологию, которая оправдывает его агрессивную политику, – и кажется, без большого успеха. Поэтому деятельность российских медиа затруднительно – или, по крайней мере, до недавнего времени было сложно – называть пропагандой в том же смысле, в котором пропаганда существовала в нацистской Германии или в сталинском СССР: российские медиа, несомненно, оказывали и оказывают сильное влияние на общество, но до начала второй фазы войны в их задачу не входило целенаправленное установление единообразного представления о реальности.

Политические журналисты и блогеры – и украинские, и оппозиционные российские, и другие – часто описывают преступления российской армии на оккупированной украинской территории, как если бы они были обусловлены готовой, уже существующей идеологией, и используют для ее обозначения слово «рашизм». Этот неологизм уже стал негативным клеймом, маркирующим буквально все, связанное с современной Россией. В статьях журналистов или текстах блогеров, эмоционально шокированных происходящим, он психологически объясним, но как аналитический термин «рашизм» имеет существенные недостатки: он слишком оценочен, не определяет четко, с какими феноменами массового сознания и поведения мы имеем дело, и предполагает, что агрессивная политика российского режима и террор оккупантов свойственны якобы только России и исходят из специфических обстоятельств, свойственных истории России – но не других стран. Здесь интеллектуалы вновь возвращаются к ситуации времен Первой мировой войны, когда философы и публицисты стран Антанты объясняли политику Германии свойственным этой стране «германским духом» и милитаристским уклоном, якобы присущим всей германской

культуре. Опасность термина «рашизм» состоит в эссенциализме, точно так же, как и в случаях, когда эмоциональные сравнения России с толкиеновским Мордором, а жителей России – с орками, используются в аналитических текстах. Применение этого неологизма основано на мнимом обобщении: в нем смешиваются описание вооруженной агрессии, империалистических амбиций и мобилизационного потенциала современного российского режима – и поразительной пассивности значительной части российского населения и его готовности, как сегодня кажется, до бесконечности приспосабливаться к происходящему.

Вообще говоря, для отказа от этой эссенциалистской риторики уже заложена интеллектуальная основа. В 2000–2010-е годы было издано минимум две значимые книги, авторы которых – журналисты, ставшие политическими и/или медиа-аналитиками – интерпретировали Россию не как исключительную страну, а как одного из «флагманов» в развитии кризиса открытой публичной сферы и выборной демократии, происходящего в целом ряде государств одновременно. Мы имеем в виду интеллектуальные бестселлеры Дж. Кампфнера («Свобода на продажу») и П. Померанцева («Это не пропаганда»). Обе эти книги – и, возможно, работы других политических аналитиков – могут стать отправной точкой для анализа того, насколько описанные дальше особенности российского режима являются уникальными, а насколько – крайним выражением авторитарно-популистских тенденций, в целом набравших большую силу в современном мире.

Одной из наиболее ярких характеристик нарративов, распространяемых в российских медиа, является жесткое разделение мира на «своих» и «чужих», при котором «свои» выделяются по параметрам то культурной близости, то психологической «понятности», то лояльности режиму. Едва ли не главным лозунгом первых недель войны была фраза «Своих не бросаем», однако кто такие «свои», кроме, предположительно, жителей восточной Украины, которых упорно называли «русскими» и противопоставляли остальным жителям Украины, – остается не вполне ясным. И это неслучайно: право определять, кто именно принадлежит этой общности, остается в лучшем случае за пропагандистами, но скорее всего – за сотрудниками администрации президента, отвечающими за работу с медиа.² Поэтому точнее было бы назвать такой метод психологического вовлечения «нашизмом». Это слово уже использовалось в новейшей российской истории. В 1991 году нынешний оппонент Кремля, журналист Александр Невзоров, снял ура-патриотический псевдодокументальный фильм «Наши», в котором обличал литовских борцов за независимость от СССР и прославлял бойцов ОМОНа, которые их избивали и разрушали построенные литовцами на границе с РСФСР самодеятельные таможенные посты. 23 ноября 1991 года на митинге своих сторонников в Санкт-Петербурге

² Такое манипулятивное использование политических понятий имеет в России почтенную историю: Андрей Зорин уже писал о том, что концепт «народность» в известной триаде графа С.С. Уварова был семантически пустотным. См.: Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII-первой трети XIX в. М.: НЛО, 2001.

Невзоров объявил о создании «народно-освободительного движения “Наши”». Тогда в одной из либеральных газет вышла направленная против Невзорова статья под названием «Обыкновенный нацизм» – переделка названия фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

Тем не менее и слово «нацизм», по-видимому, является недостаточно точным: в нем сохраняется суффикс «-изм», предполагающий, что мы имеем дело именно с идеологией. Один из основоположников истории понятий как исследовательской программы и метода исторической интерпретации Райнхард Козеллек неоднократно обращал внимание на то, что понятия с этим суффиксом имеют темпорально-проективный смысл, то есть указывают на важнейшую – с точки зрения адептов соответствующего термина («капитализм», «национализм», «социализм», «анархизм») – тенденцию или задачу общественного развития. Такой темпорально-проективный смысл обычно имеет идеология, то есть непротиворечивое описание действительности, окрашенное представлениями и надеждами того или иного социального, политического или религиозного сообщества.³ В эпоху массовых идеологий, в XIX–XX веках, каждая идеология, будучи порождением именно сообщества, претендует на то, что она спасительна для всего общества и является выражением «необходимого» взгляда на социальную реальность.⁴

Ничего подобного в нынешней российской пропаганде найти не удастся: и политики, и пропаганда каждые несколько недель не просто меняли объяснение целей войны, а брали его из разных идеологических нарративов, и эти противоречия не перестают удивлять наблюдателей. Сначала российские пропагандисты называли целью войны «денацификацию Украины», используя нарративы универсалистской антифашистской борьбы, взятые из переосмысленной риторики западных оккупационных держав конца 1940-х годов; потом Владимир Путин вновь, как и в предыдущие годы, заговорил о необходимости защиты «русского» населения Восточной Украины, включив дискурс этнического национализма; потом Дмитрий Медведев написал о необходимости «десатанизации» Украины, что включило уже другой дискурс исключительности – отсылающий к концепции «священной войны», характерной в современном мире для агрессивных религиозных сект. Одновременно пропагандистская брошюра для российских солдат «Живу, сражаюсь, побеждаю. Правила жизни на войне» изображают украинцев «перепрограммированными» русскими, которые очень хорошо воюют, потому что они в прошлом были советскими людьми (здесь мы сталкиваемся с приемом отождествления русского и советского, который использовался еще в сталинской пропаганде 1940-х годов), но воюют они во имя зла – что напоминает нарративы фантастических боевиков, в которых такому перепрограммированию подвергаются роботы или жертвы

³ См., например: Козеллек Р. Введение // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2 т. / Пер. с нем. К. Левинсона, под ред. Ю. Зарецкого, К. Левинсона, И. Ширле; научн. ред. пер. Ю. Арнаутова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. Т. 1. С. 29; Он же. «Пространство опыта» и «горизонт ожиданий» — две исторические категории / Пер. с нем. А. Котова и О. Кильдюшова // Социология власти. 2016. Т. 28. № 2. С. 169—170.

⁴ «Идеологии обычно воспринимаются как в одно и то же время натурализирующие и универсализирующие» (Eagleton T. Ideology. L.; N.Y., 1999. P. 9. Перевод наш).

психологического «зомбирования» (рис. 1). Очевидно, что такие противоречивые сигналы не могли бы сами по себе мобилизовать граждан на поддержку режима, а если их мобилизует не идеология, то значит, на них влияет что-то другое.

4. Кто такие украинцы

Еще совсем недавно 96,7% украинцев были русскими. Но 30 лет независимости их лишали нормального образования, культуры, родного языка и превращали в «одичалых» русофобов.

От русских у них еще кое-что осталось. Они, как и мы, воспитывались на подвигах дедов, победивших фашизм. Они такие же храбрые бойцы — стойкие в обороне, дерзкие в наступлении. Когда-нибудь, после денацификации, они снова станут русскими, а пока они враги. Жестокие и коварные. А значит бить их надо, пока не задерут вверх руки, не расслабляясь, до самой нашей победы.

Рис. 1. Фрагмент страницы пропагандистской брошюры «Живу, сражаюсь, побеждаю. Правила жизни на войне»

Петер Слотердайк предложил считать циническое мировоззрение следующей стадией развития «ложного сознания» после идеологии (здесь Слотердайк неявно опирается на концепцию, восходящую к Георгу Лукачу, а от него — к Фридриху Энгельсу, который объявил идеологию формой ложного сознания)⁵. Эта концепция может оказаться полезной по двум причинам: она открывает новую перспективу рассмотрения феномена современного цинизма и предполагает, что помимо идеологии, сегодня могут существовать и другие формы «ложного сознания», то есть познания социальной реальности, основанного на последовательной и очень пристрастной ее «перекодировке». Мы попробуем описать одну из таких форм.

3. Открытое насилие и психологическое вовлечение

Сегодня разговор о связи режима и граждан в России имеет смысл начать заново, попытавшись определить, с чем мы имеем дело. Иными словами, важно будет ответить на вопрос, какова связь между государственной политикой, массовым сознанием и массовым поведением, и каковы основания для поддержки или как минимум консенсуса между государством и гражданами, который сохраняется вплоть до конца ноября 2022 года (когда мы пишем эти строки), даже если и начал давать первые трещины.

Впрочем, следует оговорить, что наше исследование касается только одной стороны проблемы. Современный российский режим использует — как это часто делали диктатуры XX века — одновременно методы психологической мобилизации и террора против населения, как морального, так и физического.

⁵ Sloterdijk P. Die Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, 1983.

Использование репрессий против населения на протяжении 2022 года в России быстро нарастало, равно как и готовность акторов репрессий отказаться от любой их формально-юридической легитимизации. Значимая веха на пути отбрасывания юридических «подпорок» – фактический отказ российских властей расследовать убийство бывшего уголовника Евгения Нужина, который завербовался из колонии в ЧВК «Вагнер», сдался в плен украинским властям и неизвестным образом вернулся в Россию. Если верить распространенной в Интернете видеозаписи, сотрудники ЧВК насмерть забили Нужина кувалдой «за предательство». За недостатком места, мы не будем подробнее останавливаться на репрессивных аспектах российского режима, а обсудим только специфику осуществляемого этим режимом психологического вовлечения общества. Взаимодействие насильственных мер и медийного воздействия в политике этого режима может – и, видимо, должно – стать предметом отдельной работы.

4. Моральная коррупция как политический инструмент

Современный российский режим с момента прихода к власти Владимира Путина все более последовательно криминализировал и искоренял альтернативные способы интерпретации окружающей реальности. В публичной сфере до 2022 года не требовалось монологического и непротиворечивого нарратива, который присутствовал во всех медиа, однако был все более заметен контроль власти за медиа и их работа по указаниям Администрации президента. Особенно эта цензура усилилась после «победы» Владимира Путина на президентских выборах 2012 года⁶.

Тем не менее доминирующей практикой в прогосударственных медиа стало не насаждение единообразной картины мира, а моральная коррупция аудитории. Телевизионная, радио- и газетная пропаганда, а также многочисленные платные «тролли» в Интернете, внушали аудитории мысль о ее моральном превосходстве и праве на resentment, но эти эмоциональные паттерны могли быть объединены в рамках самых разных фрагментарных нарративов: ностальгии по советским временам – вымышленным и «перепридуманным»; ностальгии по Российской Империи, тоже перепридуманной; восхищением «добродетелями» русских и советских людей.

Моральной коррупцией мы предлагаем называть целенаправленное внушение аудитории представлений о том, что она состоит якобы из добрых и в целом высоконравственных людей и что именно такие люди должны поддерживать те или иные политические меры. Подобный способ воздействия, в котором для последовательной идеологии просто не остается места, сегодня часто используют политики-популисты, но в России его применяет сразу целый ряд прогосударственных медиа, и не только во время предвыборных кампаний. Кроме того, моральная коррупция крайне плохо работает для нужд массовой мобилизации, тем более для поддержки военной агрессии: в этих случаях власти

⁶ Слово «победа» здесь используется в кавычках, так как эти выборы сопровождались многочисленными нарушениями.

обычно бывает необходим нарратив, изображающий «нацию»/«отечество» в ситуации крайней опасности.

В картине мира, создаваемой российскими медиа, важнейшими функциями моральной коррупции стали психологическая гиперкомпенсация, то есть убеждение аудитории в том, что они имеют право на выражение символической агрессии по отношению к «чужакам» и вообще к тем, кто им непонятен (отсюда – огромная распространенность на российском телевидении ток-шоу, на которых ведущий оскорбляет участников и не дает им говорить или участники кричат и перебивают друг друга) и гносеологическая анестезия, то есть нечувствительность к противоречиям в картине мира. Исследователи современных российских медиа и политической сферы (в том числе и упомянутый выше Питер Померанцев) уже не раз писали, что в случаях возникновения публично значимых проблем – в диапазоне от сбития российскими военными формированиями малайзийского «Боинга» над Украиной до пандемии COVID-19 – главной задачей пропаганды становится не продвижение «правдивой» версии событий, а нагнетание бесконечно большого числа противоречивых версий и оспаривания нарративов, признанных в международных медиа. В совокупности эти информационные интервенции должны создать у аудитории ощущение «все врут, правду все равно узнать невозможно», при котором стремление узнать о действительном положении вещей психологически блокируется.

Вся эта работа прогосударственных СМИ направлена на то, чтобы аудитория чувствовала себя несправедливо обиженной, но в то же время – поддержанной властями в своих «уязвленных чувствах». Еще одним результатом этого воздействия становится утрата, или, точнее, отказ от веры в действенность моральных критериев; результаты действия этого отказа можно описать фразой: «...все говорят, как им выгодно, поэтому давайте говорить, как выгодно нам, и неважно, кто считает, что это плохо». В этом случае пропагандисты и их аудитория становятся своего рода психологическими сообщниками: саму противоречивость пропаганды российские телезрители и Интернет-пользователи, по видимому, «считывают» как приглашение в круг посвященных, где «свои» согласованно принимают новые «правила игры».

Политический и экономический аналитик Дмитрий Бутрин еще в 2014 году, вскоре после начала первого этапа войны России против Украины, сформулировал эти «правила»:

...в России в последние месяцы наблюдается одна из самых величественных за последние десятилетия попыток легализации статуса публичной лжи <...>, если эта ложь может продемонстрировать за собой сколь-нибудь массовую общественную поддержку. Мало того, по моему предположению, именно эта связь лжи и общественной поддержки и считается теперь по определению (точнее, изображается в телепередачах и других пропагандистских текстах. – *М.М., И.К.*) сутью политического механизма.⁷

Более нюансированный анализ того, как моральная коррупция порождает «солидарность во лжи» между политическими элитами, пропагандой и обществом,

⁷ Бутрин Д. К новой лжи // InLiberty. 22.08.2014. URL: <https://old.inliberty.ru/blog/1673-k-povoy-lzhi> (дата обращения: 15.12.2022).

предложил тогда же, в 2014 году, социолог Алексей Левинсон. Он предположил, что в сознании российского общества существует ментальная инстанция, отвечающая за нормы, маркированные как «западные» и «общечеловеческие» социальный аналог «сверх-я» из поздних работ З. Фрейда:

В ситуации, о которой писал Оруэлл [анализируя двоясмыслие – *М.М., И.К.*], было две стороны — власть и общество. Сейчас надо вести речь о трех субъектах. Один — это власть, персонифицированная Путиным. Другой — общество. А третий — мысленная общность, которая не существует как реальное собрание людей, а является образом мыслей, дискурсом. Это образ мыслей, который присутствует в массовом сознании, он живет внутри нашего общества, но выражает подходы, которые у нас ассоциируются с Западом, ориентируясь на его мораль и ценности. Проще всего описать их как корпус норм международного права, общечеловеческих ценностей.

Сознавая, что это присутствует в нас, и зная, как будут выглядеть наши действия (тогда только замышлявшие) с этой точки зрения, Путин заранее объявил тех, кто будет выражать такие взгляды, «пятой колонной». Штука в том, что эти взгляды <...> [-] принадлежность всего общества и всех, включая высших руководителей. Но разница в том, как с ними обращаться. Дать им звучать внутри и вовне или заглушить иным подходом: мы заведомо лучше вас и мы заведомо правы, а вы нет. <...> ...Мы как патриоты не будем признавать то, что мы знаем как жители. Признавать перед кем? Перед Западом, который там, за бугром, и перед Западом, который внутри нас.⁸

Развивая мысль Левинсона, важно увидеть одну закономерность, на которую до сих пор мало обращали внимания аналитики: и до начала второй фазы войны в 2022 году, и после 24 февраля 2022 года дискурс политических деятелей и СМИ целенаправленно работал на создание у граждан образа сторонника режима как людей, которым якобы свойственно «доброе» и «эмпатичное» поведение: оправдывать государственную ложь следовало из сочувствия к «детям Донбасса» и к памяти пророссийских активистов, погибших во время одесского пожара 2 мая 2014 года; ту же функцию часто выполняли напоминания о гражданских жертвах Второй мировой войны, которые ассоциировались в пропаганде с жителями современной Восточной Украины. Поскольку от аудитории, потреблявшей соответствующую медиапродукцию, не требовалось никаких действий – кроме разве что пожертвования денег на формирование донецких и луганских сепаратистов, да и то необязательно – значимой целью пропаганды в этом случае была перекодировка агрессивных эмоций и ксенофобии в переживание «поддержки невинных жертв». Успешность этой стратегии видна хотя бы из того обстоятельства, что манипулятивный вопрос «Где вы были восемь лет?», обращенный к противникам вторжения в Украину (предполагалось, что все эти восемь лет, с 2014 по 2022 год, этически ответственные граждане должны были бы сочувствовать «детям Донбасса»), получил большое распространение в социальных медиа в первые же дни войны.

⁸ Левинсон А. Нельзя кричать: «Россия sdurela». Интервью Елене Рачевой // Новая газета. 05.11.2014. URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2014/11/05/61833-aleksey-levinson-nelzya-krichat-171-rossiya-sdurela-187> (дата обращения: 15.12.2022).

Эта подмена идеологии моральной коррупцией позволяет объяснить события, произошедшие в Москве в конце октября 2022 года и вызвавшие недоумение у аналитиков. 20 октября телеведущий Антон Красовский в авторской программе «Антонимы» (телеканал RT) призвал «топить» и «сжигать» тех украинских детей, которые будут говорить «москали оккупировали». Хотя это было не первое человеконенавистническое высказывание Красовского в телеэфире (так, во время пандемии COVID-19 он заявил, что главные антиваксеры – это «мамочки», и что их нужно «расстреливать»), реакция политических и медийных элит именно на эту реплику оказалась неожиданно жесткой: руководительница RT Маргарита Симоньян объявила о «прекращении сотрудничества» телекомпании с журналистом, а сам Красовский «покаялся» в социальных сетях. По-видимому, журналист нарушил неписанные правила игры, которые предписывали изображать сторонников российской агрессии против Украины как людей, которые «любят детей». «Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это (то есть война. – *М.М., И.К.*) как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться – на том языке, который считают родным», – написала в своем аккаунте в Twitter Симоньян, которая, как правило, прибегает в своих публичных высказываниях к гораздо более агрессивной риторике.

Психологическое состояние, в которое российские прогосударственные медиа погружали и продолжают погружать аудиторию, мы предлагаем назвать эмпрессией – неологизмом, составленным из слов «эмпатия» и «агрессия». Это именно психологическое, ментальное состояние, а не идеология, и его-то и «производят» публичные политики и прогосударственные СМИ. Психологической «подложкой» эмпрессии является ресентимент, вызванный проигрышем СССР в «холодной войне» с США.

По-видимому, одним из важнейших факторов, обусловивших сначала войну в Чечне, а потом и сдвиг постсоветской России к диктаторскому режиму, стало распространение среди офицеров КГБ и армии, родившихся в 1950-е годы и достигших первых стадий карьерного роста к началу 1980-х (напомним, что Владимир Путин родился в 1952 году) концепции, аналогичной «теории удара ножом в спину», распространившейся среди немецких офицеров в конце и сразу после Первой мировой войны. Они считали, что германская армия непобедима, а если они оказались побеждены, то причиной этому может быть только предательство – и виновных в этом предательстве сторонники «теории» нашли довольно быстро: ими «оказались» либералы, социал-демократы и евреи. В Германии, как известно, общий ресентимент, вызванный поражением Германии и послевоенной разрухой, и социальная агрессия, выраженная в «теории удара ножом в спину», получили оформление в нарративе национал-социалистической идеологии.

Эту последовательность событий совершенно не обязательно считать закономерной; скорее, эта связка ресентимента и идеологии была уникальной и возникла потому, что финал Первой мировой войны пришелся на период бурного развития и расцвета массовых политических идеологий, прежде всего – социал-демократии и национализма. В России ресентимент и «теория удара ножом в спину» так и не обрели – и никак не могут обрести – подходящей для них идеологии потому, что постсоветское городское общество гораздо менее

склонно к идеологической мобилизации, чем немецкое общество 1920-х годов. Но оно оказалось легко подверженным моральной коррупции, распространяемой с помощью медиа, и бороться с ней в послевоенной России придется долго и трудно.

Культурно-психологическим основанием для этой моральной коррупции стала, по-видимому, натурализация идеологии, произведенная в СССР во второй половине 1930-х годов. Как уже сказано, согласно Терри Иглтону, натурализация является характерной чертой идеологии (впрочем, задолго до Иглтона в подобном же духе высказывался Ролан Барт – в эссе «Миф сегодня»). Однако именно в СССР, начиная со второй половины 1930-х годов, в массовой культуре аудитории последовательно сообщалось, что она состоит из «хороших людей» – а «хороши» они потому, что готовы помогать всем окружающим и пожертвовать собой ради сообщества. Гражданские добродетели оказывались не просто синонимичны, а тождественны добродетелям образцового семьянина. Государство и изображалось в пропаганде как разветвленная патриархальная семья, а «правильный» гражданин – как идеальное воплощение семейных этических ценностей. Такую натурализацию идеологии можно было бы назвать абсолютной.

Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить.
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать, –
Как невесту. Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать...

(В. Лебедев-Кумач, «Песня о Родине», 1936)

Формирование эмпрессии – это вторая стадия развития процесса: натурализация остается целью пропаганды, но идеология в привычном смысле слова из этой дискурсивной манипуляции уже удалена; в этот новый дискурс могут быть включены только фрагменты идеологических нарративов.

Как можно видеть из приведенного анализа, у эмпрессии есть историко-культурные корни, уходящие в советское время, но в ней нет ничего, что бы делало это состояние специфически российским. По-видимому, в ближайшее же время и педагогам, и теоретикам медиа стоило бы задуматься о том, как в будущем можно было бы избежать инструментализации эмпатии и ее имитации – производства образа аудитории как «эмпатичной» и «защищающей слабых»⁹. Такое производство может привести к распространению моральной коррупции в образовании и в целом в публичной сфере. Задача сегодняшних интеллектуалов – противостоять такому распространению.

9 августа–24 ноября 2022 года

⁹ Одна из первых книг, позволяющих «разметить» это проблемное поле: Empathy and its Limits / Ed. by Aleida Assmann and Ines Detmers. Palgrave Macmillan, 2016.

Суд совести и просто суд: неискупимость вины vs.
неотвратимость наказания

Поздно вечером 23 февраля (а точнее, очень рано утром 24-го), в 00:17, я послал своему 20-летнему сыну сообщение: «Ложусь, и ты укладывайся. Сегодня ночью начнется война». Перечитал и обалдел. Сам себе мысленно ответил: «Ты в своем уме, отец? Ты в каком состоянии оставляешь мне и нам мир? И – “ложишься”?? Ну уж нет! Не спи! Делай что-нибудь!!»

Вся конфигурация вины и ответственности – в этом воображаемом ответе.

Что произошло 24 февраля? Понимание этого будет изменяться в зависимости от последующих событий: от хода войны, (само)демонтажа режима, форм восстановления. Однако уже можно сказать одно: произошло непоправимое. Эту непоправимость не нужно пытаться утопить в тривиально-онтологических соображениях о бесповоротности любого события, до самого мелкого, физико-химического, молекулярного. Речь не столько о той с катастрофическими последствиями раздавленной бабочке, на чье место может претендовать падение любого листа с дерева, любой дождевой капли, сколько о сдвиге в сфере моральной. Мы привыкли к тому, что в новейшей истории зло принимает очертания смутные, бессубъектные, анонимные: природные катастрофы, потепление планеты, исчерпание ресурсов, аддикция от техники, пандемия... Даже «капитализм» в левой критике характеризуется (и критикуется) как зло «неизбежное», как некоторая деперсонализованная социальная закономерность. Но вот на сцену вышло зло в непривычно или в забыто персонифицированном облике, и имя его будет надолго ассоциироваться с именем России.

Возвращение к более архаичной, субъективированной форме зла застало многих из нас врасплох. Как и сама война. За немногими исключениями, масштаб агрессии оказался неожиданным для большинства россиян, украинцев и граждан иных стран, практически в равной степени для «обывателей» и «экспертов». Обывателей российская власть намеренно и успешно обманывала, но как быть с экспертами? Большинство из них не просто не предвидели, но и категорически отрицали близкую войну, аргументируя тем, что «Путину она не выгодна». Ошибка эта симптоматична, и по меньшей мере в двух отношениях.

Во-первых, рациональность Путина¹ оказалась сильно преувеличенной. По аналогии с homo oeconomicus, которому вменялась идеальная просчитанная эгоистическая и прагматическая стратегия, нацеленная на выгоду, и на которого реальный агент экономических отношений оказался совсем не похож, эксперты создали и вменили Путину воображаемый mega-mind. Было сильно недооценено то обстоятельство, что (как и многие люди, вовсе не наделенные властными полномочиями) он склонен себя обманывать неполной или ложной информа-

¹ Здесь и далее имеется в виду не обязательно индивид, носящий это имя, но некоторый центр принятия решений, подвижные очертания которого еще предстоит установить историкам (и юристам).

цией. Будучи же облечен практически абсолютной властью, он обладает и неограниченными возможностями в реализации этой склонности. Путин организовал самообман в невероятных и не доступных простым смертным размерах, принимая свои писанные или неписанные, гласные или негласные распоряжения за реальность.

Во-вторых, непрозрачность политического режима в России привела к тому, что Путин предстает в глазах экспертов медиатором и усмирителем (*katechôn*, сказали бы некоторые) еще более абсурдных или brutальных стратегий, а они регулярно звучат из уст – в силу этого самых заметных – фигур думской власти, прокремлевских медиа-персонажей или так называемых военных корреспондентов (этих новых акторов на публичной сцене). Следствием этой одновременно квази-естественной (разве не нормально для руководителя страны иметь кого-то радикальнее себя по обе стороны спектра?) и вполне сознательно и методически сконструированной роли является волей-неволей приписываемый ему статус своего рода *summi bonum*, наивысшего национального всеобщего блага. В силу этого ни краткосрочные интересы Самого и особ, приближенных к императору, ни их фантазмы эксперт не принимает в расчет в достаточной мере и приписывает черному ящику принятия решений ту же счетно-рациональную линию поведения, какую он выбрал бы сам, окажись он «на месте Путина». К тому же, «вертикаль власти» была реально построена, поскольку, несмотря на часто декларируемую «многобашенность» Кремля, общество не видит вокруг вождя никаких личностей, которым можно было бы приписать «номер 2» и «номер 3».² Фигура Путина поэтому выступает и «реально» является как бы замковым камнем свода, обрушение которого повлечет за собой катастрофически непредсказуемый и, вероятно, кровавый пересмотр этого столь же порочного, сколь и хрупкого равновесия.

Как философ, не могу не признаться: моя боль лишь умножается от факта причастности к русскоязычному философствованию³. Не секрет, что «Россия» является центральной и самодовлеющей его темой; бесконечные рассуждения о миссии, призвании, природе, сути и особенности России составляют предмет огромной части так называемых философских текстов за почти два века русскоязычного философствования – а также мишенью для уже традиционной самоиронии. И вот 24 февраля маски оказались сброшены: *такова* миссия, природа, суть и особенность России, и любое отрицание этого обстоятельства есть лишь внутренний, наивный (или якобы хитрый), мало кого вовне убеждающий, продукт местных дебатов.

С первых дней войны обнаружилось также, что многие (нет, не все, далеко не все) профессиональные философы ждали этого события и так или иначе его

² Пока готовилась к печати эта книга, отчетливо вырисовался кандидат на место «номера два»: человек без официального статуса, зато с богатым криминальным прошлым, Евгений Пригожин. Ничто так наглядно не демонстрирует демонтаж институтов в путинской России, как восхождение этого «выдвиженца».

³ Закончив философский факультет Ростовского университета в 1984 году, я после (незавершенной) аспирантуры в ИФ АН СССР поехал в 1989 году стажироваться в Швейцарию, где и остался, чтобы защитить диссертацию (в 2002 году) и работать. Таким образом, я больше половины жизни провел уже вне России, посильно участвуя в российской философской жизни.

приветствуют, образуя таким образом философскую «партию войны». Одни, оказывается, вполне всерьез принимали свою болтовню (пока остальные, условные «мы», недальновидно над ней хихикали) про особый цивилизационный код, особую (и, конечно, «более лучшую») цивилизационную парадигму, весь тот поток непереваренных ресентиментных псевдо-интеллектуальных понтов, который постепенно стал путинским идеологическим мейнстримом. Другие в силу миролюбия предпочли бы мирный ход и исход событий, поэтому пеняют на украинцев, что те не повели себя цивилизованно (т. е. не сдались) и обрekli себя и тех, кто героически нес им свет русского мира, на человеческие жертвы. Третьи возмущаются отнюдь не российскими бомбами, а бесчеловечными санкциями псевдо-гуманного Запада, оставляющими больных без лекарств, а детей – без питания. Четвертые злорадствуют по поводу энергетического и зернового голода и инфляции, от которых Запад, наконец, точно рухнет. Пятые считают февральскую агрессию «ошибкой», но как граждане *этой* страны будут желать ей победного исхода и, конечно, «по достижении» пользоваться его плодами; например, после победы России охотно возглавят украинские университеты и факультеты, чтобы их денафицировать, а заодно и девропеизировать, избавить от дремучего крестьянского диалекта и дать возможность расцвести под сенью великого и могучего русского языка, великой русской культуры и, конечно, великой русской идеи. Шестые убеждены (повторяя путинскую мантру «другого выбора у нас не было»), что Запад спровоцировал Россию, а потому он и виноват. Восьмые в относительно дружном отпоре агрессии со стороны Запада удовлетворенно увидели подтверждение западной русофобии, знаки которой они уже давно выискивали. И это я не упоминаю самых оголтелых.

Что произошло, чтобы это стало возможным?

Советская «антропологическая катастрофа» (М. Мамардашвили) была, похоже, лишь преддверием постсоветской. Если советский строй в духе великого социального эксперимента перетолковал институты, начиная со своего *ядра* – советов (включая Верховный, который был лишь трибуной для оглашения решений, принятых в партийных верхах), то путинская Россия избавилась от практически всех ключевых социальных институтов. Само «президентство» было преобразовано в пожизненную тиранию, партийный плюрализм превратился в де-факто однопартийный режим, не говоря уже о судьбе судебной власти, парламента (окончательно доказавшего свой декоративный характер *единодушным* голосованием за начало военных действий) или отделения церкви от государства. Советская идеология заложила основы глубокого и непоколебимого цинизма, ставшего альфой и омегой постсоветского общества, и этот цинизм еще предстоит изучить: неверие в любые идеалы, презрение к слабым, уважение к «ресурсу» и слепая вера в силу, недоверие к любым «добрым» или «бескорыстным» действиям и т.п.

Как ни парадоксально, огражденный железным занавесом от прочего мира, СССР больше беспокоился о внешней легитимации и, следовательно, о своей репрезентации вовне. Путинская Россия закончила тем, что перестала утруждать себя даже видимостью демократии и нормально действующих институтов. Президент, который *думает*: «Буду держаться за кресло сколь возможно долго и любой ценой», – лишь номинально является президентом, а на самом деле он

тиран, узурпирующий власть. Но президент, который *говорит* открытым текстом, что, дескать, если я уйду, «года через два уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников; работать надо, а не преемников искать», – такой «президент» не просто ничего не понял в демократии, но и не считает необходимым это обстоятельство скрывать. Реванш советского авторитаризма произошел при полном избавлении от советских и/или коммунистических идейных аксессуаров: ностальгики по советскому (многие из которых не застали советское время) вовсе не обязательно разделяют советские или коммунистические ценности, да и не знают и не помнят про них ничего, а просто верят в пропагандистский миф о советском рае.

Как я уже упомянул, этот демонтаж неотвратимо коснулся и философского цеха. Судя по размаху и скорости глянцшальтунга, многие философы понимают свою задачу не в критике (в кантовском, франкфуртском или ином ее виде), а в упреждающей лояльности и помощи в идеологической легитимации *любой* затеи лидера, какой бы преступной и иррациональной она ни была. Грубый налет на Институт философии (как потом оказалось, в самый канун войны) в этом отношении очень показателен. Главный налетчик (и пустое место в философии) не преуспел тогда⁴ только в силу самоуверенности и неопытности в подкованной борьбе, а так-то ползучий холд-ап института был де-факто совершен до и без него: все программные документы Института уже давно переполнены обсессивным провозглашением специфического российского «пути» и соответствующих «ценностей», по которым так легко узнаются все «проекты», которые пишутся исключительно, чтобы предстать пусть и не августейшему оку, но хотя бы чьим-то сановным очам. Влажные мечты о том, чтобы производимые трактаты и опусы «легли на стол в администрации президента», представляются мне самым постыдным аспектом той постсоветской философии, которая 24 февраля обрела такое трагичное и позорное завершение.

К исходу перестройки и в результате краха советского режима вырисовалось несколько сценариев дальнейшего философского развития: возвращение к состоянию ante-1917; присоединение к мировой философии; возвращение к «подлинному (читай: не-ленинско-сталинскому) Марксу»; осмысление России, ее пути и особенности; деполитизация философии; реполитизация философии... Ни один сценарий не реализовался в полной мере, но тем не менее официально-господствующим течением стало все то же «осмысление России», которое по отношению к серебряновечному образцу убавило религиозный элемент (в дискредитацию которого РПЦ внесла решающую лепту), нарастив зато элемент геополитический. Не понадобилось даже *поскрестить* дежурный интернационализм, чтобы обнаружить под ним геополитический империализм в ноздревском духе: «Вот граница! Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синее, и все, что за лесом, все мое».

⁴ Но он не унимает стараний: см. его текст от 25.11.2022: <https://donbasstoday.ru/na-filosofskom-fronte-bez-peremen/>

Но в каких бы исключительных, партикуляристских тонах ни ставился в этом «течении» вопрос о России и ее неизбывной самобытности, для многих россиян, недостаточно искушенных в «русской идее», сразу или вскоре после начала войны встал вполне универсалистский вопрос о вине и ответственности. Не нам и не сегодня пытаться дать на него ответ, речь может идти только о самых предварительных к нему подступах.

Весной 2021 года был принят указ, запрещающий сравнивать Сталина и Гитлера. Даже для умеренно пронципальных читателей он послужил своего рода герменевтической инструкцией «от противного». А с точки зрения права? Все современное международное право выросло как наследие Нюрнберга, и в этом смысле оно вполне сознательно сравнивает новые злодеяния (преступления) со старыми. Вопрос о вине и ответственности (коммунистического) режима *не был* с достаточной радикальностью и на государственном уровне поставлен ни в 1985, ни в 1991 году, в чем многие видят исток нынешней трагедии. Но если в конце 1980 годов сталинизм представлялся пусть и тоталитарным, но *противником* гитлеризма, то в начале 2020-х путинизм предстал уже *эмуляцией* не столько сталинизма, сколько гитлеризма!

Нет поэтому ничего удивительного в том, что в лице самой совестливой части населения (или пусть только интеллигенции) моральная рефлексия нашла в пост-нюрнбергском опыте само собой разумеющуюся модель. С первых же дней войны в русскоязычных социальных сетях многие люди стали писать, что испытывают чувство вины за происходящее. Например, художник Юрий Альберт написал в фейсбуке 19 мая 2022 года: «Странно. Все пишут, что коллективной вины не существует, а я ее ощущаю. Индивидуально». Это и подобные признания вызвали самые разнообразные комментарии – от солидарных до осуждающих (под разным соусом: от «у меня нет ничего общего с этим режимом, чего это я буду за него виниться» до «мы/вы русские такими признаниями не отмоемся/отмоетесь»). Популярной реакцией была и такая: преодолевайте (или: давайте отбросим) это чувство, потому что вина не конструктивна.

Здесь, как мне кажется, происходят несколько смешений. Слово «вина» принадлежит как языку морали, так и языку права, и имеет в них разные значения, которые обыденное словоупотребление, конечно, не обязано различать. В моральном смысле часто говорят о «вине» в субъективном смысле, как о моральном *чувстве*, близком к стыду. Как и другие чувства, оно или есть, или нет. Поэтому странно требовать от собеседника как не испытывать вины, если он ее испытывает, так и, наоборот, призывать, а тем более принуждать его испытывать вину, если он ее не испытывает. Первое напоминает народно-любительскую психотерапию: исключи отрицательные эмоции, и дело в шляпе; второе – кульпабилизацию, вменение в вину. К тому же «испытывать вину» и «сообщать о том, что испытываешь вину» – два разных действия. Но и упрекать собеседника, например, в неискренности его сообщения⁵ – тоже едва ли правомочно: как мы можем судить об этом? В юридическом же языке «вина» (guilt, fault; faute; Schuld) имеет объективное значение: суд устанавливает вину в смысле меры

⁵ Арендт высказывает такого рода сомнение в адрес немецкой молодежи.

участия индивида в противоправных действиях и, следовательно, меру его ответственности за них.

Это смешение вызывает сложные психологические эффекты: кто-то может запрещать себе, подавлять в себе моральное чувство вины из страха быть *обвиненным*, уже вполне в юридическом смысле. Такой отказ не лишен и чисто юридического смысла: по российскому законодательству (я не говорю о *действующем* правосудии), признание вины («чистосердечное признание», «деятельное раскаяние») может избавить обвиняемого от судебного разбирательства и упростить процедуру с обязательным сокращением срока (не более 2/3 максимального срока) и/или штрафа. Если и есть какая-то корреляция между моральным и юридическим значениями вины (в идеале совершающий правонарушение должен испытывать сожаление по этому поводу), то здесь она скорее обратная. Весьма вероятно, что люди, принимавшие решение о развязывании войны, чья юридическая вина может быть (и наверняка будет) легко установлена, не испытывают (по крайней мере, пока) никакого чувства вины. Как и, наоборот, Юрию Альберту и многим его единомышленникам и единомышленникам ни при каких обстоятельствах не смогут быть предъявлены какие-то судебные обвинения, какие бы острые муки совести их ни грызли.

Лично мои переживания я скорее описал бы скорее как злобу, негодование, гнев, чем вину. Возможно, это объясняется моими связями с Украиной – оба мои родителя и сестра родились в Одессе, несколько моих родственников, дорогих друзей и коллег живут в Украине. Но я, конечно, считаю эту войну преступной вовсе не *потому*, что как-то связан со страной-жертвой. Это объясняет скорее лишь степень вовлеченности: и за Грузию было горько (и не только *потому*, что там друзья), но в случае с Украиной удар пришелся по живому. Что же до моей доли в коллективной вине, то не исключаю, что тридцать с лишним лет жизни вне России притупили мою идентификацию с этой страной и ее народом. Может быть, поэтому вину я испытываю скорее не как россиянин, а как философ – в частности, потому что принимал недостаточно всерьез имперские или ксенофобские перекосы у некоторой части философского цеха, относил их на счет извиняемых личных капризов, а то и льстил себе ими как доказательствами собственной широты и терпимости. Но все-таки это «вина» в каком-то очень расширительном смысле.

Мы тут говорим о вине и ответственности, но по сути употребляем сокращения, имея в виду всякий раз *коллективную* вину, *коллективную* ответственность. Вина как индивидуальное переживание может иметь предметом деяние не самого индивида, но коллектива, с которым индивид себя идентифицирует или ассоциирует. В этом случае мы можем ее называть «коллективной виной», имея в виду переносный, метафорический характер этого понятия и не забывая, что сама вина переживается индивидуально. А на практике, в силу вышеупомянутой обратной корреляции, испытывать коллективную вину (то есть индивидуально испытывать вину за действие коллективное) склонны люди, которые не только не одобряли и не способствовали, но которые возмущались и протестовали – и ровно за то, что, может быть, *недостаточно* возмущались и протестовали, может быть, не всё сделали, чтобы избежать катастрофы.

Часто натыкаешься на отвержение коллективной вины и/или ответственности как именно тоталитарного предрассудка. Но это, разумеется, не так – и в

моральном, и правовом плане. По этим проблемам существует обширная литература, причем как этическая, так и юридическая.⁶

Что касается вины в юридическом смысле, каковы перспективы правосудия в случае агрессии России против Украины? В международном праве есть требование, чтобы сама страна, автор злодеяний, обеспечила следствие и наказание виновных. Лишь если это требование не выполняется, включается международный механизм правосудия. Есть ли основания полагать, что это требование имеет шансы реализоваться в России? Недавно, но все же до войны, вышла (и осталась в целом не замеченной общественностью) великая книга (по жанру – аналитический доклад) Николая Бобринского и Сергея Дмитриевского «Между мстью и забвением: концепция переходного правосудия для России»⁷. Мне кажется, что этот аналитический доклад вышел очень удачно – до войны, поэтому авторов нельзя заподозрить в «мудрости задним умом», или в ретроспективном искажении (*hindsight bias*). И вот авторы начинают книгу с констатации «системного беззакония»⁸ и связанной с ним «системной безнаказанности» как главной черты российского правосудия. Оно фактически демонтировано. В своем нынешнем состоянии оно точно не способно внятно поставить вопрос о преступлениях, совершенных самой властью в ее высшем эшелоне. То есть одно из преступлений путинского режима, до всякой войны или в качестве ее преддверия, состоит в демонтаже юридической системы, которой между тем либо когда-нибудь придется вынести решение о Путине, его режиме и его окружении, либо уступить эту миссию международному суду.

Причем есть основания полагать, что Путин как дипломированный юрист демонтировал правосудие не просто преднамеренно и с умыслом, а со знанием дела. Вместо того, чтобы быть гарантом конституции, он возглавил борьбу с ней. Частью этого демонтажа было самовыпиливание из международного права, в частности, из Римского статута Международного уголовного суда, который начал действовать на рубеже веков. Россия его подписала в 2000 году, потом (в ответ на критику в связи с захватом Крыма) в 2016 году отозвала свое участие. В целом на фоне декларировавшейся (в частности, другим юристом-у-власти, Дмитрием Медведевым) борьбы с юридическим нигилизмом, он как раз расцветает бурным цветом, под лозунгом: от подчинения праву нет никакой *выгоды*; то, что нам нужно, мы заберем силой, а то, что нужно другим от нас, пусть попробуют, опираясь на свое никчемное право. В силу успешного построения упоминавшейся «вертикали власти» во всей ее неподотчетности народу (если не сказать: во всем ее антинародном характере), ответственность за происходя-

⁶ См. сборники: May L., Hoffman S. (Eds.). *Collective Responsibility. Five Decades in Theoretical and Applied Ethics*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1991; Branscombe N., Doosje B. (Eds.). *Collective Guilt. International Perspectives*. Cambridge UP, 2004; Bazargan-Forward S., Tollefsen, D. (Eds.). *The Routledge Handbook of Collective Responsibility*. L., N.Y.: Routledge, 2020.

⁷ Н. Бобринский, С. Дмитриевский. *Между мстью и забвением: концепция переходного правосудия для России: аналитический доклад*. М.: Институт права и публичной политики, 2021. Также накануне войны вышла, кстати, и другая важнейшая книга: Е. Лёзина. *XX век: Проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах*. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы. М.: НЛО, 2021.

⁸ Там же. С. 34.

щее не может быть возложена на граждан под девизом «ответственности народа за свое правительство»: путинский режим последовательно парализовал, извратил и/или уничтожил самые основы гражданского общества и его базисные институты, которые в случае демократии и призваны удерживать действия властей в рамках конституции и общественного блага.

Конечно, война еще готовит нам сюрпризы – и военные, и дипломатические. Но пока с каждым днем дело все больше выглядит так, что Путину, предполагаемому главному виновнику войны, грозит довольно простая альтернатива: более или менее естественная смерть или судебный процесс. С трудом можно себе представить Путина на покое, разъезжающего с докладами по лучшим университетам мира. Другая поучительная книжка в этой связи – сборник статей⁹, посвященных финальным фазам власти тиранов¹⁰ в XX и XXI веках. Авторы выделяют три типа разнообразных концов диктаторов-палачей: 1) смерть, естественная или подозрительно похожая на самоубийство и воспринимаемая как *способ вернуться* от правосудия (Пол Пот, Пиночет, Милошевич); 2) более редкий тип *казни* по приговору суда (высшие нацистские руководители, Саддам Хуссейн); 3) внесудебная *расправа-мщение* (Муссолини, Бен Ладен, Кадафи). Составители приходят к выводу, что открытый процесс – это самый завидный конец, о котором могут мечтать современные диктаторы.

Автор одной из важнейших книг, посвященных истории понятия тирании¹¹, Марио Туркетти, в отдельной статье проанализировал различие между деспотизмом и тиранией, чтобы уточнить статус и характер «права на сопротивление»¹². Почему история не знает *деспотицида*, в отличие от *тираницида*, т. е. *тираноубийства*? Различие здесь отнюдь не праздно: если деспот расширительно, с жестокостью, произволом и злоупотреблениями пользуется *легитимной* властью, то тиран узурпирует власть вопреки закону. Вследствие этого различия, по Туркетти, деспотизм можно и нужно критиковать, но право на сопротивление является в полной мере правом только по отношению к тирании. Применительно к российскому случаю, если Путин может рассматриваться как деспот до 2008 года, то начиная с рокировки 2012 года, а окончательно после «поправки Терешковой» 2020 года – его следует трактовать как тирана, а сопротивление ему – как право.

Спор о нацизме (как о конкретном историческом феномене и как об универсальном пейоративе) и о правомочности применения этого термина к путинскому режиму сам по себе интересен и заслуживает отдельного рассмотрения. Очевидно, что новый завтрашний тоталитаризм не будет носить усики и длинный косой чуб. Он точно не будет называться «нацизмом» или «фашизмом».

⁹ Garibian S. (Dir.). La mort du bourreau. Réflexions interdisciplinaires sur le cadavre des criminels de masse. Paris: Petra, 2016. Это исследование не первое и не единственное в этом роде; см. Borneman J. (Ed.) Death of the Father. An Anthropology of the End in Political Authority. N.Y.: Berghahn, 2004; Ducret D., Hecht E. (Dir.). Les derniers jours des dictateurs. Paris: Perrin, 2012.

¹⁰ В оригинале буквально: «палачей». Составители объясняют выбор этого слова: Garibian S. Op. cit. P. 28.

¹¹ Turchetti M. Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours. Paris: PUF, 2001.

¹² Idem. Droit de Résistance, à quoi ? Démasquer aujourd'hui le despotisme et la tyrannie // Revue historique. 2006. № 4 (640). P. 831-878.

Но он наверняка будет кичиться силой. Он будет предлагать себя как средство обуздать хаос мира с помощью одной-двух простых идей. И опять его соблазнительность будет неотразимой.¹³

Я позволю себе завершить эти беглые и обрывочные размышления обширной цитатой из интересного и, на мой взгляд, недооцененного французского политического философа Жан-Франсуа Ревеля (1924–2006), в молодости социалиста (и антикоммуниста), а затем – либерала. Этот *insipit* к его книге с программным названием «Как заканчиваются демократии» (1983) мне кажется невероятно актуальным. Конечно, в этом тексте сорокалетней давности в качестве главной угрозы демократии фигурирует коммунизм. Тем более интересно видеть, как сегодня путинизм в своей опасности и разрушительности выступает несомненным аватаром, если не наследником, коммунизма. Ибо Путину удалось многое: в течение многих лет он извлекал максимальную прибыль из энергетического, продовольственного, а уже на наших глазах – и ядерного шантажа. Он смог привлечь на свою сторону как (крайне) левые, так и (крайне) правые силы во многих, в том числе западных, странах. Международных ультраконсерваторов он смог убедить своей приверженностью к традиционным (гомофобным, анти-мультикультурным, патриархальным, колониальным) ценностям. Но по отношению к международным левым он умело играет, с одной стороны, на антиамериканизме¹⁴, а с другой, на остаточной симпатии к советскому опыту, к историческому эху «Великого Октября».

Демократия, быть может, окажется в истории случайным отклонением, короткими скобками, которые теперь на наших глазах закрываются. В своем современном смысле, а именно как общественная форма, которой удалось совместить действительность государства с его легитимностью, а его власть – с индивидуальной свободой, она продлится немногим больше двух веков, если судить по той скорости, с которой растут силы, стремящиеся ее уничтожить. И, кстати, с ней познакомится лишь ничтожная доля рода человеческого. Как во времени, так и в пространстве демократия занимает, таким образом, очень скромное место, ибо упомянутые мной два века относятся лишь к редким странам, где она возникла (еще в очень неполной форме) в конце XVIII века. В других же случаях страны, где сегодня еще держится демократия, приняли ее меньше века, меньше полувека, а то и меньше десяти лет назад.

Несомненно, демократия могла бы удержаться, будь она единственным типом политической организации в мире. Но она в принципе не создана, чтобы защищаться от врагов, которые извне желают ей гибели: особенно когда самому недавнему и самому грозному из ее внешних врагов, коммунизму, нынешнему варианту и завершенной модели тоталитаризма, удастся изобразить себя усовершенствованием самой демократии, хотя он являет собой абсолютное ее отрицание. Демократия по определению направлена вовнутрь. Она призвана заниматься терпеливым и реалистичным улучшением жизни в обществе. Коммунизм же, напротив, в силу необходимости нацелен вовне, поскольку является социальным провалом, неспособным породить жизнеспособное общество. Номенклатура, т. е. все бюрократически-диктаторское руководство системы, умеет обращать свои способности только в экспансионизм. В этом она демонстрирует умения и настойчивость большие,

¹³ Smet F. *Reductio ad Hitlerum. Une théorie du point Godwin*. Paris: PUF, 2014. P. 157-158.

¹⁴ См.: Revel J.-F. *L'Obsession anti-américaine*. Paris: Plon, 2002.

чем демократия – в своей самозащите. Демократия склонна недооценивать, а то и игнорировать угрозы, которым подвергается, настолько ей отвратительно принимать принудительные меры. Она просыпается только тогда, когда опасность становится смертельной, неминуемой, очевидной. Но тогда уже либо ей не хватает времени, чтобы предотвратить урон, либо цена за выживание становится непомерной.

К этому внешнему врагу, когда-то нацизму, а теперь коммунизму, чья совокупная интеллектуальная энергия и экономическая мощь направлена на разрушение, добавляется для демократии и внутренний враг, чье место предписано самими ее законами. Если тоталитаризм уничтожает всех внутренних врагов или ликвидирует с помощью простых и безотказных (ибо антидемократических) методов саму возможность какого-либо действия с их стороны, демократия защищает себя весьма вяло. Внутренний враг демократии играет умело, поскольку использует то право на несогласие, что вписано в саму демократию. Под своей легитимной оппозицией, под критикой, признанной прерогативой любого гражданина, он умело скрывает свой замысел уничтожить саму демократию, прячет свою активную ориентацию на абсолютную власть, на монополию силы. Демократия – это и в самом деле такой парадоксальный режим, который предлагает всем желающим его отменить уникальную возможность готовить эту отмену в полной легальности и согласии с законом и даже получать от внутреннего врага явную поддержку так, что это вовсе не выглядит серьезным нарушением социального договора. Граница здесь неопределенная, и легко взаимопереход между лояльным оппозиционером, пользующимся конституционным правом, и противником, разрушающим сами институты. Тоталитаризм принимает первого за второго, чтобы оправдать подавление любой оппозиции; демократия принимает второго за первого из страха быть обвиненной в предательстве собственных принципов.

Мы оказываемся в результате в той перевернутой ситуации, что свойственна обществу, обозначающему себя как западное, а именно в ситуации, в которой стремящиеся к разрушению демократии выглядят борцами за свои легитимные требования, тогда как те, кто стремится защитить ее, предстают инициаторами реакционных репрессий. Отождествление внутренних и внешних противников демократии с прогрессивными, легитимными и к тому же миролюбивыми силами компрометирует и парализует деятельность граждан, желающих всего лишь сохранить демократические институты. К этому следует добавить ту «индустрию вины», которая состоит в том, чтобы убедить всех и каждого: всему плохому, что происходит в третьем мире, можно найти виновника, причем с необходимостью в «развитом», «богатом» и уж во всяком случае – и неслучайно – в «демократическом» мире.

Следовательно, представляется, что мощь психологических, материальных, политических и моральных сил, направленных на истребление демократии, превышает мощь таких же сил, стремящихся сохранить ее. Ее достижения и заслуги не ставятся ей в актив, тогда как она платит за свои провалы, несовершенства и ошибки цену куда более высокую, чем платят за свои косяки ее противники.¹⁵

Проблема не в Путине, а в его окружении – как внутри страны, так и за ее пределами: оно беспомощно и беззащитно по отношению даже не к силе, не к движению, не к воле, а к индивидуальной блажи, не подкрепленной, кажется, никаким резонным национальным или корпоративным интересом. Путин стал

¹⁵ Revel J.-F. Comment les démocraties finissent. Paris: Grasset, 1983. P. 9-12.

несомненным катализатором кристаллизации и сплочения украинской нации. На нем лежит еще одна миссия: встряхнуть мировое сообщество, которое должно пройти через радикальное обновление, модернизировать ООН и многие другие свои институты, чтобы предотвратить саму возможность инструментализации их со стороны циничного и безответственного агента.

II.

Травма неомеркантилизма и задачи новой культуры

Страшное пробуждение: насилие без утопии

Проснуться в состоянии войны – важный пункт российской культурной истории. В течение нескольких десятилетий он служил хрупким эмоциональным противовесом в нарративе «великой» народной миссии Второй мировой, торжествующе оборонительной и монолитно победоносной. Проснуться в стране, президент которой объявил невыносимо постыдную войну «братскому народу» – это то, что мгновенно и драматически перечеркнуло три основополагающих презумпции, которые все еще связывали режим нового российского меркантилизма с позитивными утопиями позднего СССР. Этими тремя точками сохранявшейся связи были спонтанная вера в мирные мотивы российской внешней политики, патерналистский интернационализм победителей и убежденность в завершении долгой эры русской деспотии смертью Сталина. Все три умеренно оптимистические презумпции образовывали твердое ядро регулятивной иллюзии исторического прогресса, которая в глазах осязаемой части российского культурного класса, в наших глазах, сводила очевидно противоречащие им тенденции к историческим пережиткам.

Заново институционализированные в 2010-е годы национализм и шовинизм представляли машинерией опасной, но архаично неэффективной, а потому обреченной на скорый сбой. Казалось, прагматичное руководство реприватизируемых государственных институтов попросту не рассматривало ее всерьез, на время оставив пропаганду и образование в руках экзальтированно расторопных фундаменталистов. В доморощенных геополитических и расовых мифологиях, которые подпитывали эту машинерию, звучало слишком отчетливое эхо «безумных 90-х», визгливо резонирующее со стилем сальных бород и заносенных пиджаков. Конвульсивные кампании по защите «чувств верующих» и репрессии публичных критиков, демонстративно реакционные и нарочито анахроничные, вели к реполитизации культурного класса, который был ранее громогласно объявлен необратимо деполитизированным. А систематические сбои в работе публичных институтов, в том числе армии и полиции как институтов легитимного насилия, компенсировались не только активностью гражданских сетей и ассоциаций, но и перековкой мрачного психоза бюрократической власти в вышколенные неолиберальные сервисы.

На деле, десятилетие, отделяющее первый массовый митинг декабря 2011 года против сфальсифицированных выборов от вступления Российской Федерации в полномасштабную войну с Украиной, стало временем крайне подвижного и далеко не мирного компромисса между модернистскими и консервативными фракциями в политике и культуре, который удерживался на трех позднесоветских презумпциях. В логике подобного компромисса колониальная война, начатая деловито циничным и одновременно все-еще-советским истеблишментом, попросту не мыслилась возможной. Ее катастрофическая непредсказуемость породила не только травму неотменимой пост-фактум принад-

лежности к стране-агрессору и убийцам близких, но и травму внезапного пробуждения в обществе, где напряженное, при этом понятное равновесие было грубо разрушено, а связь с позднесоветской мечтательностью прервана окончательно. Если советское насилие поддерживало двусмысленные отношения с учредительной утопией нового порядка (в том числе через риторику уничтожения враждебных классов, а затем и классов как таковых), а послесоветский порядок строился в тени эклектичного компромисса между индивидуальным успехом и корпоративной лояльностью, вторжение в Украину и национальная мобилизация наглядно предъявили голую власть, то есть страшное в своей необоснованности насилие без утопии и компромиссов.

Торжество «вечного» авторитаризма или временное поражение структур гражданства?

Столь непредсказуемое и масштабное проявление голой власти, неотменимо сопряженное с массовыми смертями, настойчиво связывает генетический вопрос «Как такое стало возможно?» с проектным вопросом «Как этого избежать в будущем?» Может показаться, что банально правы оказались те, кто еще в начале 2000-х годов указывал на состоявшийся возврат в 1937 год, то есть на неизбежный пароксизм власти, в советские 1930-е годы фатально стерший грань между экономическим уничтожением враждебных классов и физическим уничтожением населения. Согласно сторонникам такого взгляда, российская государственная власть «всегда» была деспотической и развратно смертолюбивой, а ее саморазоблачение в этом качестве было лишь делом времени и формы.

Ошибочность этого убеждения раскрывается уже в самом измерении времени. На протяжении более 30 лет, с конца 1980-х годов, на государственной территории Российской Федерации сосуществовало несколько политических режимов одновременно, и структуры суверенной власти и централизованного насилия, с глубоко вшитыми в них деспотическими соблазнами, как и в большинстве современных обществ, составляли лишь часть этого сплетения. Иные формы власти – власть рынка и гражданских ассоциаций – все эти десятилетия вносили фундаментальный вклад в конструкцию публичного порядка, которая примиряла начальственный надзор с рациональными стратегиями наживы, как и с эффектами социальной, профессиональной и благотворительной солидарности. Власть рынка в последнее десятилетие проявлялась наиболее наглядно не только в собственной форме экономических принуждений, но и в очевидном переносе логики конкуренции и рентабельности на общие блага сфер образования и культуры.¹ Ее компенсировал такой важный феномен институциональной коррекции, как пролиферация низовой публичной критики. Он прослеживался и в секторе профессиональных медиа, и в гетерогенной ассоциативной среде: начиная с соседских дружин по защите парков от коммерческой застройки и кампаний в социальных сетях против ошибок и злоупотреблений районных

¹ Подробнее см.: Бикбов А. Культурная политика неолиберализма // Художественный журнал. 2011. № 83 (3). С. 40-52.

управ, продолжая волонтерской рефлексией о городе, комфортном для всех, и вплоть до антикоррупционных расследований профессиональных НКО и массовых митингов.² Некоторые рецепты этой корректирующей критики впоследствии дополнили технологический арсенал государственного и регионального управления. Реформы полиции, государственной администрации, городской среды и даже ряд дискриминационных техник контроля над миграцией отсылают к рациональности, сперва артикулированной активистами и критиками из низовых ассоциативных объединений.

Не замечать учредительных эффектов разнообразия власти и контр-власти, к чему исходно предрасположены провозвестники «вечного» российского авторитаризма, – проявление специфической слепоты ко всем новым формирующим условиям, которые создавали российское общество последних 30 лет. При всем благородном трагизме, которым отмечена подобная слепота, представление о критике власти лишь как о моральном героическом противостоянии стало разновидностью опережающей интеллектуальной капитуляции. Значительно упрощая ответ на генетический вопрос об истоках войны, закольцованная на прошлом схема авторитарного строя неспособна предложить проектные решения, пока будущее-как-прошлое остается неизбежным и неизбежно мрачным. Тем самым, подобно кэрлловским остановившимся часам, анализ и прогноз, основанные на тезисе о «вечной» российской автократии, способны показывать точное время лишь дважды в сутки, не оставляя возможности узнать, когда именно наступает этот момент.

Была ли и будет ли более продуктивной диагностика по исследовательскому хронометру, который отставал от флуктуаций переплетенных структур власти всего на несколько минут, но точно так же не был способен предупредить о падении в голую власть и полномасштабную войну? Полагаю, что да, поскольку любые попытки сделать этот инструмент более точным в полной мере отвечает систематическому поиску ответа на генетический и на проектный вопросы. Если российский политический порядок последнего десятилетия не был «сущностно» авторитарным или фашистским, обнажение власти и колониальную войну следует рассматривать как историческое поражение неавторитарных и нецентрированных на территориальном суверенитете структур публичного порядка, получивших собственное место в российском обществе.

Предвестники их ослабления в период роста – и в первую очередь, гражданской контр-власти, в отличие от господства рынка – очевидны при самом беглом обзоре запретительных законов и репрессивных практик последних пяти или шести лет. Что менее очевидно, точечные репрессии и общая криминализация правительством политического активизма, борьбы против дискриминации и благотворительной работы замедляли также коммодификацию последних,

² Роль неправительственной политики, корректирующей критики и опережающего предложения управленческих технологий в гражданском секторе анализируют две частично совместимых парадигмы: фукольдианская аналитика правительности (см., в частности: Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах / пер. с англ. А. Писарева. М.: Дело, 2016. Гл. 6, 10) и критические теории демократии (Розанваллон П. Контрдемократия: политика в эпоху недоверия / пер. с англ. А. Захарова // Неприкосновенный запас. 2012. № 84 (4). С. 11-30).

которая сопровождала попытки создания постоянных ассоциативных органов. Иными словами, готовность активистов превратить ассоциативное действие в профессию и услугу (в отсутствие государственной поддержки) находила все меньше возможностей, а пространство легальной активности существующих независимых профсоюзов и профессиональных НКО сжималось. В отличие от такой делегализации гражданской контр-власти, российский политический истеблишмент никогда не осмеливался на аскетическое отрицание рынка – ни до, ни после начала войны. Последовавшие декларации и административные акты лишь подтвердили кардинальную заинтересованность правительства в устойчивом обороте капитала, которая обеспечивается продажей газа, без перебоев транспортируемого через территорию Украины в период вторжения, субсидирования 50% рекламных расходов крупных предприятий, поддержкой российских создателей видеоигр и иных мер, принимаемых Администрацией президента и Думой в разгар военных действий. Среди прочего, тот же органический интерес правительства в циркуляции капитала сделал (первоначально) невозможной фашистскую мобилизацию населения, т. е. такую милитаризацию публичного порядка, которая навязывала бы утопию корпоративской и сакрализованной нации, противопоставленную гедонистическому международному капиталу, и опиралась бы на низовые группы, рекрутирующие новых сторонников во имя этой идеи.³ С началом войны крайне правые сети и неонацистские группы не получили политического мандата, правительство и полиция удержали их в той зоне «опасной» самоорганизации, куда ранее были отнесены левые и феминистские инициативы, благотворительные и гражданские объединения.

Следует ли признать поражение различных видов гражданской контр-власти предрешенным и неизбежным в России начала 2020-х годов? Подъем муниципального движения, экспансия феминистских сетей и выход студенческого активизма за рамки узкого интереса профессионализации оставляли надежду на иные возможности. По мере того, как в правительственных структурах вызревало насилие без утопии, в среде низовых взаимодействий кристаллизовались новые разновидности тактического утопизма и спокойного буржуазного реформизма. Однако, при всей их кардинальной важности, практики политической и гражданской контр-власти не дают полной картины неоправданно нарушенного компромисса. Любому внимательному наблюдателю очевидно, что в 2010-е годы и в начале 2020-х годов гражданским структурам принадлежало все еще скромное место в конфигурации государственных институтов и в формировании их профессионального корпуса.⁴ Даже если идеи городского благо-

³ Основа этого определения фашистского режима представлена уже в классических исследованиях Эмилио Джентиле, в частности: Джентиле Э. Фашизм. История и истолкование / пер. с ит. А. Шурбелева. М.: Владимир Даль, 2022.

⁴ Следует помнить, что это место, пускай и скромное, не было пренебрежимо малым. Трансмиссия гражданской повестки в государственные институты в отдельные периоды происходила через такие органы, как региональные общественные и гражданские палаты, наблюдательные комиссии в тюрьмах (ОНК), советы при правительстве и президенте, институт омбудсменов и ряд иных. Реформы региональных администраций в отдельных случаях консультировали гражданские эксперты и правозащитники, реформы городского управления – энтузиасты и бизнесмены, увлеченные урбанистикой. Публичные кампании против коррупции и сексуаль-

устройства, антикоррупционные матрицы или контроль условий тюремного содержания были заимствованы официальными акторами у ассоциативных, это нередко происходило помимо публичного диалога и процедурно регулируемого конфликта. Не менее, если не более весомый ответ о формуле российского политического порядка и о его мутациях с большой вероятностью содержится в сложной, подвижной композиции самих институтов правительства.

Неотрадиционализм: от подчиненной функции – к собственной агентности

Невыносимая наглядность войны, которую правительство запретило называть собственным именем, запечатлелась в образе погибших от ракетных и одиночных выстрелов жителей украинских городов, в арестах несогласных на российской территории, в экстренной и массовой эмиграции, в уловках военкомов, равнодушно ведущих квоитированную жатву призванных. Из колониальной кампании, опорой которой служила в первую очередь профессиональная армия, с объявлением массовой мобилизации война была превращена в национальную. Пароксизм голой власти, давший новое и страшное определение России в момент окончательной утраты равновесия, ясно обозначил точку отсчета в системе политических координат. Если предыдущее десятилетие было периодом подвижного равновесия между модернистскими и консервативными фракциями в политике и культуре, между различными видами интернационализма (как культурного, так и финансового) и не менее разнородными версиями национализма, то катастрофа войны стала выражением бесспорной победы консерваторов. При этом победы не столько карьерной, сколько идейной.

Ощутимая даже по меркам первой украинской войны 2014 года смена позиций мгновенно отразилась в строе официального языка и законов. Основы всей символической конструкции 2022 года, соединившей влечение к насилию с гипермаскулинной и расистской чувственностью, были публично предъявлены уже в период аннексии Крыма. Радикальное отличие заключалось не в том, что сказано, а в том, кто говорит. В 2014 году катакомбные публицисты, подобные Крылову, Дугину, Старикову, Гиркину, получив согласие кураторов из Администрации президента на газетные полосы и вожделенные минуты центральных телеканалов, заново ввели в публичный оборот идеи о несуществующей и нацистской Украине, о воинственной геополитической миссии России и о торжестве русского духа, прежде погребенные в крайне правых нишах. Подобное просачивание из мрачных катакомб на сцену массовых коммуникаций было безусловно отталкивающим и опасным, но условия компромисса все еще позволяли не принимать его всерьез. Дистанцируясь от требовательных расистских риторик, правительство и правящая партия официально удостоверили их излишний радикализм, что позволило сформулировать собственную, более умеренную идентичность в терминах «здорового консерватизма». Тот факт, что в

ного харассмента в медийном сопровождении выступали (порой успешными) попытками просеивания профессионального управленческого, а также преподавательского корпуса.

2022 году официальные государственные представители, начиная с президента, отбросили центристскую умеренность и заговорили словами крыловых и гиркиных из 2014 года, означал даже не карьерный успех последних (вскоре после аннексии Крыма те были снова выдворены в их собственные ниши), а сдвиг самой координатной сетки. В 2022 году крайне правая чувствительность стала новым центром. Именно поэтому нишевые правые публицисты не были кооптированы в политический истеблишмент. Скорее, это укрепило позиции этаблированных националистов и сторонников теорий заговора, таких как Владимир Мединский, Дмитрий Рогозин, а также безымянных, но влиятельных советников из рядов спецслужб и армии.

Отвергнув тезис о «вечном» российском авторитаризме, следует ли, пользуясь терминологией Вебера, признать в состоявшемся сдвиге историческую констелляцию, или непредвиденную случайность, даже если в данном случае речь идет о переписанной биографии властвующего класса и всей страны? Выбирая между неизбежностью российской диктатуры и насмешкой истории, мы излишне упростили бы веберовский подход, упустив из виду куда более глубокое, социологическое объяснение механики сдвига. Оно раскрывается в описании административной функции, которую получили консервативные идеологии и новый традиционализм как инструменты управления населением.

Отвечая ранее на вопрос о генезисе российского политического режима 2000–2020-х годов, я ввел гипотезу инструментальной функции нового российского традиционализма.⁵ Согласно ей, ультраконсервативные элементы российского политического порядка воплощают совсем не примитивное, линейное влечение российского властвующего класса к архаичному господству. Напротив, они несут в себе крайне изощренную периферийную разновидность духа капитализма, который делает приемлемыми страсть к наживе, неравенство, дробление социальной и гражданской солидарности под лозунгами органического единства нации и священной традиции. Формулируя это иначе, переизобретаемая национальная традиция и социально несправедливый рынок в последние два десятилетия представляли собой не конкурирующие структуры власти, которые истощали друг друга в непрерывном столкновении, но синтез, выстроенный медленно и наощупь, который наделил капитализм умеренной привлекательностью в обществе, в полной мере не захваченном влечением к индивидуальному успеху и систематической наживе.

Основания к такому прочтению с трудом обнаруживались в реакции властвующего класса на гражданские протесты 2011–2012 годов, художественную или гендерную критику, поскольку эта реакция сопровождалась сверхпроявленными консервативными симптомами и эксцессами институционального морализма. Именно серия реакционных запретов заставила многих критиков режима увидеть в нем воплощение одного лишь деспотического соблазна. Другое измерение, парадоксальным образом менее очевидное в силу его институциональной и хронологической протяженности, а также многообразия продук-

⁵ Bikbov A. Neo-traditionalist fits with neo-liberal shifts in Russian cultural policy. In: Jonson L., Erofeev A. (Eds.). *Russia – Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist*. L.: Routledge, 2017.

тивных (в отличие от рестриктивных) форм, сыграло существенно более важную роль в рождении нового публичного порядка. Инструментализация консерватизма происходила в контексте административных, налоговых и финансовых реформ последних двух десятилетий, в ходе которых тот же властвующий класс, с опорой уже на совсем иных экспертов, обладателей интернациональной компетентности и вкусов, принуждал население к состязательной индивидуальной продуктивности и мотивировал к экономическому благополучию. И в данном случае речь шла не о самых крайних, блокирующих и шокирующих, проявлениях неолиберального курса: закрытии малочисленных школ и коммерчески неуспешных культурных учреждений, упразднении экономически невыгодных учебных программ и кафедр.

В куда более широких масштабах выражением неолиберальной рациональности стала финансиализация общих благ и социальных гарантий. Это и ранняя (в 2003 году), уже почти забытая отмена налоговых льгот для издателей учебников, и радикальный отказ от единой тарифной сетки (зарплат) в государственном секторе, которая в 2008 году была замещена гибкими премиальными поощрениями по образцу частного сектора, и закон 2011 года о бюджетных и казенных учреждениях, который обязал государственные заведения предлагать часть своей деятельности на рынке коммерческих услуг, и реформа управления поликлиниками, музеями, университетами 2010-х годов, нормализовавшая подушевое финансирование, принудительные индексы компетентности и рентабельности.⁶ Проводники этих типичных по опыту США и Западной Европы мер, такие как уже упомянутый Мединский на посту министра культуры, одновременно выступали выразителями ясной неотрадиционалистской повестки. Принуждая работников публичного сектора и их семьи к конкуренции за общие блага и ратуя за поощрение неравенств, они же выступали защитниками национального сплочения, традиционной семьи и немеркнувшей военной славы России.

Введение новых норм состязательности под знаменем национальных интересов превратили государственные гарантии в поле борьбы за привилегии и акционировали общий фонд культуры. Радикально индивидуализирующие и монетизирующие технологии управления населением, принуждаемого к неравенствам, сопровождались ультраконсервативными пропагандистскими кампаниями по производству национальной морали. Соединение этих двух, на первый взгляд, предельно конфликтных разновидностей экспертизы и мотивирующего воздействия привело к своего рода инверсии веберовской модели капитализма. В противоположность XVII-XVIII столетиям, когда европейская религиозная аскеза вела к неожиданным прорывам в технологиях прибыли, на пороге российского XXI века доказавший свою экономическую эффективность глобальный капитализм был травестирован в фольклорный кошкошник и монашескую рясу.⁷ Компромисс предшествующего войне десятиле-

⁶ Подробнее см. цитируемую выше статью.

⁷ В этом смысле, новый дух российского капитализма также радикально отличается по форме от его «гибкой» разновидности, проанализированной во французском и, более широко, европейском контексте: Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / пер. с франц. под общ. ред. С. Фокина. М.: ИЛО, 2011.

тия строился, таким образом, не только на умеренной терпимости правительства к гражданской критике, но и на прагматичном использовании традиции во имя продуктивности.

Ввиду этой изощренно двойной конструкции политического режима, ошибки в его истолковании могут показаться более простительными. Не принимать неoarхаику и ее глашатаев всерьез располагало не только эхо 1990-х годов, которым отдавали речи опереточных шовинистов, но и функциональное подчинение неотрадиционализма задачам нового государственного менеджмента. В этих условиях традиционалистские эксцессы представляли лишь «одомашненным» утилитарным рудиментом. Настоящая катастрофа начинается в той неоднозначно диагностируемой точке политической хронологии, где консерватизм высвобождается из инструментального и подчиненного положения, приобретая собственную агентность. То есть превращается в автономный принцип принятия политических решений.

С большой вероятностью можно предположить, что этому способствовала другая историческая превратность – эпидемия коронавируса. Она переупорядочила не только масштабные пространственные взаимодействия населения, но и внутривластьственную коммуникацию. В последнем случае изменения материализовались и в пресловуто длинном столе, за которым размещали редких зарубежных собеседников российского президента, и в специально оборудованных боксах, где обязательный двухнедельный карантин должны были проходить его российские визави, но прежде всего – в почти полном прекращении предварительных консультаций президента с министрами и экспертами перед принятием решений.⁸ Круг советников и спектр предварительной экспертизы радикально сузился, сообщив диспропорциональный вес тем, кто в нем остался. И именно в этом крайне редуцированном пространстве властного доверия и общения архаичный соблазн деспотического насилия обрел собственную форму, пароксически конденсировав прежде рассеянные симптомы и практики.

Воинственный неомеркантилизм: угроза будущему, прерывание цикла

Критическая реконструкция компромисса 2010-х годов и обстоятельств его разрыва существенно проясняет генетический вопрос: «Как стала возможной война?» Архаичное уплотнение суверенных соблазнов в спазме властной коммуникации обратило неолиберальные тенденции в меркантилистские. Как я уже отметил, правительство сохранило безусловный интерес к обороту капитала и экономическому процветанию, но вместо стимуляции продуктивности (включая ставку на высокотехнологичное образование) средством воплощения этих амбиций сделало расширение территории. В таком свете элементы меркан-

⁸ Неизбежно частичная коллекция этих эпизодов была собрана российскими СМИ в 2020–2022 годы, нередко – в жанре властного курьеза. Между тем, именно такие сдвиги в структуре властью управляемой коммуникации наиболее последовательно раскрывают этапы подготовки катастрофы.

тилистского порядка, хорошо известные по европейским моделям Нового времени, приобрели окончательное, в том числе военное, выражение. Среди них – абсолютизация ренты, получаемой от продолжающегося экспорта газа и нефти, колониальные завоевания как инструмент ожидаемого усиления национальной мощи, протекционизм в отношении крупных национальных компаний и локальной валюты (включая завершившуюся с началом войны суверенизацию системы расчетов), сопутствующая централизация управления, побуждение местного населения к националистической и патриотической лояльности, принудительное перемещение населения и ресурсов с колонизируемых территорий.⁹ Учитывая, что милитаризация всей конструкции была начата в ходе второй чеченской войны (с 1999 года) и лишь ускорилась с первой украинской (с 2014 года), наивно было бы ожидать внезапной смены курса в 2022 году. Как и старый меркантилизм, текущая разновидность в своей основе стала автаркическим и колониальным режимом управления территорией, ориентированным на экспансию. Это означает, что уже необратимая трагедия военной агрессии в Украине может служить точкой отсчета для новых колониальных «возвратов» к меркантилистскому прочтению величия России.

С начала войны жители Украины предлагали российскому сопротивлению кардинальное решение проектного вопроса: «Как это предотвратить?» – вооруженное восстание против правительства-узурпатора. Учитывая сверхпредставленность в российском протесте с начала 2010-х годов выходцев из образованных и культурных сред¹⁰, во многом характеризующую и антивоенное движение, такое решение выглядит социологически маловероятным. Отправляясь от собственных свойств среды протеста, следует в первую очередь уточнять стратегии сопротивления неомеркантилизму средствами культуры. Речь в данном случае не об антивоенном активизме, обладающем безусловной ценностью, а о более отдаленном горизонте, который проявляется в исследовании генезиса войны и ее возможного продолжения.

Просачивание консервативных, суверенистских соблазнов в структуры власти завершилось в пространстве обедневшей властной коммуникации. Но началось оно с активной адаптации нишевых ультраправых теорий к публичному обороту. В попытках катакомбных мыслителей пробиться на публичную сцену вряд ли можно обнаружить что-либо экстраординарное. Куда большей познавательной интригой и действительной политической опасностью стало публичное долгожительство их идей. Упомянув ранее об инструментализации правительством традиционализма и низовых традиционалистов, я указал на

⁹ Сдвиг к меркантилистской модели не исключителен для России и тесно сопряжен с усилением консерваторов в правительствах разных стран. Так, экономическую программу Дональда Трампа некоторые аналитики интерпретировали как возврат к меркантилизму: Salman Ahmed, Alexander Bick. Trump's National Security Strategy: A New Brand of Mercantilism? // Carnegie Endowment for International Peace. 17.08.2017. URL: carnegieendowment.org/2017/08/17/trump-s-national-security-strategy-new-brand-of-mercantilism-pub-72816 (дата обращения: 14.12.2022).

¹⁰ Подробнее см.: Бикбов А. Методология исследования «внезапного» уличного активизма (российские митинги и уличные лагеря, декабрь 2011–июнь 2012) // Laboratorium. 2012. № 2. С. 130-163.

ограниченный карьерный успех последних. Куда более серьезный риск представляла даже не их прямая кооптация во властные структуры, а их тихая интеграция в «нейтральные» институты образования и культуры. Передаточными звеньями в диффузии ультраконсервативной доктрины осажденной крепости, церковных утопий вечной нормативной семьи и России как последнего бастиона духа, как и в пропаганде неудержимой экспансии «русского мира» во всех его формах, стали многочисленные экспертные форумы, электронные журналы и сетевые СМИ, а также кафедры региональных и центральных университетов, диссертационные советы академических институтов и экспертные центры, которым многие сегодняшние противники войны вовремя не уделили достаточно внимания и усилий по интеллектуальной демистификации.

Тревожная характеристика десятилетия компромисса, предшествующего войне, заключалась в том, что рутинизация консерватизма в виде доступной и разделяемой культуры зачастую сопровождалась небрежным и испуганным уклонением от полемики самых компетентных интеллектуальных игроков, а кампании солидарности с теми, кто подвергался прямым атакам или давлению со стороны неотрадиционалистов, были зачастую недостаточно решительными и громкими. Ответственно используя понятие коллективной ответственности, следует признать, что она не может быть вменена российскому культурному классу непосредственно за войну. Однако более чем уместно обсуждать коллективную и индивидуальную ответственность за предвещающую войну молчание.

Учитывая переход российского неомеркантилизма в открыто колониальную и военную фазу, пора окончательно расстаться с мифом о «вечном» российском авторитаризме. Необходимо приложить достаточное коллективное усилие к раскодированию российского колониального мышления, прослеженного вплоть до сегодняшнего дня и его культурных (т. е. имманентных интеллектуальному производству), а не только властных (внешних для культуры) форм. Среди прочего это предполагает отказ от расхожей иллюзии, что российское государство никогда не было, а потому исторически не может стать колониальным. Укрепление национальной мощи за счет присоединения территорий несет в себе неизбежность войны, и непризнание колониальных мотивов за «восстановлением единства» России негласно узаконивает будущие вторжения.

Интеллектуальная деколонизация культуры невозможна как возврат к утопическому довоенному состоянию. Катастрофа уже произошла, став возможной благодаря эротизированной насилием встрече между неоконсервативными публицистами из националистических катакомб и дилетантами-историками в правительстве. Модернистские культурные фракции в самом российском обществе уже в значительной степени отеснены с публичной авансены или вытолкнуты за границы страны. Это означает, что восстановление культуры, включая производство нового взгляда на историю и политический порядок, возможно только в диалоге между российскими и украинскими, армянскими, казахстанскими и другими носителями несовпадающего колониального опыта. Диалоге, который на первых шагах будет коннотирован соблазнами исконности, исключительности и превосходства, неизбежно сопровождающимися колониальную власть по разные стороны учреждаемых ею границ и делений. Пересмотр политических очевидностей прежней интеллектуальной работы и

конструирование новой культуры поверх прежних границ, внимательное к изначальной уязвимости этой культуры и к энергии разрыва, которую она в себе несет, – это первая большая задача. Она позволяет если не прекратить войну мгновенно, то сделать ее менее вероятной в будущем.

Вторая большая задача прямо следует из понимания культурных предпосылок воинственного неомеркантилизма и необходимости гражданского использования культурным классом своих профессиональных навыков. Консервативный каркас неомеркантилизма складывался из нескольких нескоординированных источников. Евразийское движение, вдохновляемое публицистом Дугиным; религиозное сектантство, заложившее основы юрисдикции «оскорбленных чувств»; теории исторического заговора против России, массово поставляемые с начала 2000-х годов сетью авторов-дилетантов, подобных Старикову; и даже «мягкий» идейный неофашизм «Реструкта» Марцинкевича или «Русского образа» Горячева, которые прикрывали деятельность подпольных неонацистских групп в конце 2000-х годов – лишь некоторые из этих источников. Поднимаясь из катакомб в поисках культурной респектабельности, все эти группы и публицисты были поначалу крайне чувствительны к слову интеллектуально состоятельных и состоявшихся игроков. Некоторые формы критики они встречали крайне агрессивно, от кампаний ответной травли до убийства ученого и судебного эксперта Николая Гиренко и адвоката-антифашиста Станислава Маркелова. Но в подавляющем большинстве случаев они кардинально зависели от точечного суждения или опасливого молчания культурного класса, эффективно капитализируя брезгливый нейтралитет, который маскировал их публичное восхождение.

Эту часть культурной истории России уже не переписать, а убитых не вернуть. Но серая зона, в которой и сегодня лично или виртуально пересекаются носители консервативной повестки и обладатели правительственной власти, все так же неустойчива и одновременно экспансивна. Она может и должна служить зоной привилегированного внимания, направленного интеллектуального действия образованных противников войны. Необходима коллективная работа по классификации носителей консервативной повестки, их идей и приемов, точных механизмов их институциональной передачи, условий карьерной кооптации, успешных способов их демистификации. Все это должно быть предметом ясного высказывания, систематических публикаций, подбора аргументов, к которым могут прислушаться обладатели разной политической и культурной чувствительности. Это совершенно необходимо, чтобы прервать смертоносный цикл, разъединить связи внутри целых консервативных гнезд и сложившихся альянсов, сместить фокус публичной дискуссии с оборонительной критики авторитаризма на утверждение культурных альтернатив, создаваемых в модальности антиколониального осмысления общества.

Поможет ли такая работа демонтировать воинственный меркантилизм? Полагаю, что да. Это, безусловно, произойдет не сразу: производство культуры чувствительно ко времени, необходимому для встречи участников диалога, совместному исследованию и публичной циркуляции находок. Помимо прочего, в такой распределенной работе особое внимание могут привлечь противники государства как такового, чьи убеждения лишь укрепились с травматичным опытом жизни под давлением или в вынужденной эмиграции. В этом случае

новая доминирующая культура будет способствовать реверсивному обращению меркантилизма в неолиберальный капитализм, исключая более солидарные модели. Но если эти две задачи не будут решены в принципе, культурная основа российского неомеркантилизма, диктующая колониальный взгляд на соседние территории, воспроизведется в новом цикле. Предпосылки для военных вторжений будущих десятилетий найдут место в моделях образования, в структуре культурных удовольствий, в атмосфере семейного воспитания.

Катастрофа войны породила не только специфическую травму жертвы у всех, кто, проснувшись утром 24 февраля, обнаружил, что отныне принадлежит к обществу-агрессору. Она сделала неотложным поиск новых теорий и культурных форм, которые не позволят погрузить эту травму в повторное молчание, которые сделают возможной ее переработку.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

Миражи преемства
(к критике «обычной схемы» русской истории
прошлого века)

Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, превратившийся в 2022 году из прежнего «прогрессиста» в весьма неуравновешенного «ястреба», особенно по части нетерпимости к «гегемонии англосаксов», ныне отстаивает право военной силой и на чужой территории защищать суверенитет «России как государства – правопреемника, а во многом исторического и морального наследника Российской империи и Союза ССР». К его высказываниям еще придется вернуться далее. Юридически-правовой вопрос преемственности договоров и обязательств, места в Совете безопасности ООН, казалось бы, технически решенный еще в первые месяцы 1992 года, вновь и вновь предстает в российском властном дискурсе последних лет отправной точкой то для рассуждений о метафизической непрерывности «нашего исторического пути», то для куда более прикладных и опасных умозаключений насчет *наших* всегдашних/исконных земель и, соответственно, списка «потерь» и притязаний. Государственные мужи, а не хлесткие публицисты, говорят и пишут теперь о довольно неопределенных «рубежах» (или шире – пределах сфер влияния), явно не совпадающих с границами Российской Федерации ноября 1991 года.¹ О том, какую угрозу это представляет для бывших советских республик, написано уже немало. Территориальные претензии стали инструментом новейшей российской внешней политики задолго до февраля 2022 года. Эта прикладная геополитика, опять же, строится во многом на представлениях и массовых, и «ученых», где магическое слово «преемственность» позволяет объявить все, связанное с Советским Союзом, а также Российской империей, в той или иной степени (при сохраняющихся оговорках) нашим, российским – вплоть до бывших стран «соцлагеря». В развитие идей «ограниченного суверенитета» бывших государств-членов Организации Варшавского договора между 1968 и 1988 годами (так называемая «доктрина Брежнева»), призрак «территориальных проблем» уже недвусмысленно обозначен для всех сопредельных стран, в какой угодно степени несогласных с гегемонией Москвы.

С первых суток агрессивной войны против Украины снова вернулись споры о том, не имеем ли мы дела с рецидивом советского централизма, желанием наследников «свободной России» августа 1991 года, теперь уже развернувшись на 180 градусов, по сути реализовать программу ГКЧП и позднеперестроечных «ястребов», пусть и в ограниченных масштабах? Или скорее речь идет о жела-

¹ Понятие «исторической России» стало предметом справедливой и развернутой критики Андрея Олейникова: Олейников А. Откуда есть пошла «историческая Россия» // Фонд Либеральная миссия. 11.10.2021. URL: <https://liberal.ru/authors/projects/otkuda-est-poshla-istoricheskaya-gossiia> (дата обращения: 11.12.2022).

нии *вдруг* приземлиться в 1916 год, а еще лучше – в державу времен «государя-мироворца», разобравшись уже окончательно с «галицким сепаратизмом»? Как оказалось снято явное противоречие двух этих реваншизмов? Если отойти от прямой политики в плоскость идеологических ретроспекций, которые делаю знаковые «говорящие головы», очевидно, что «краснознаменные» установки читателей Сергея Кара-Мурзы и Александра Проханова гораздо раньше нынешнего злосчастного года почти сошлись с «белыми» убеждениями имперцев и монархистов, вроде Олега Платонова или Михаила Смолина. Некоторый перевес в пользу вторых в новом российском официозе задан еще и отказом от советского наследия в республиках. Это стало толчком, дополнительным стимулом для тех, кто возжелал продемонстрировать им через 30 лет после конца СССР «настоящую декоммунизацию».

Мне кажется важным выделить в идее исторической преемственности/непрерывности как минимум три важных измерения или пласта (не ради академической дотошности, а для прояснения темы весьма горячей, воспаленной):

- политический и правовой;
- социальный (в смысле как массовой опоры, так и слоя активных пропагандистов-«носителей»);
- культурный, который зачастую и не случайно выходит на первый план.

В рамках статьи я буду говорить о «русском» и «российском» как синонимах; сложная история соотношения этих совсем не тождественных понятий очень важна², но все же может быть оставлена в стороне. Сплетение советского и российского – тема очень давняя. Можно вспоминать тут Николая Устрялова, Джорджа Кеннана, вплоть до оппонентов и толкователей Иосифа Бродского или специалистов по актуальной международной политике. Правильно ли именно здесь, в этих, казалось, ушедших смычках и подстановках искать ответы на вопрос о причинах сегодняшних обстрелов, гибели и страданий сотен тысяч людей? Почему эта сцепка, утверждение имперско-советско-«эрефной» преемственности, вдруг оказалась столь опасной?

1. Призраки «распада»

Именно тезис о непрерывности существования «исторической России» (и неопределенности ее внешних границ) является одним из краеугольных камней нынешнего оправдания войны. Этот постулат – не просто патриотическое «углубление истории» своей страны в дописьменную древность, чувство связи с далекими предками, свойственное столь многим современным государствам «изобретение традиции», но индальгенция любым прошлым или будущим расширениям московской «централизованной власти». Именно о последней говорит Путин, начиная с интервью 1990-х годов и до недавних бесед с учителями об оценках пугачевского восстания, оглядываясь то на Петра, то на прочих

² Обширный историко-понятийный материал дан в книге: Лескинэн М.В. Велико-росс/великорус. Из истории конструирования этничности. Век XIX. М.: Индрик, 2016.

старых и новых «собирателей земель». Нетрудно увидеть здесь двойную родовую травму путинского режима: не только противовес «призракам распада» лета-осени 1999 года, времен губернаторской фронды, но и еще более глубокий пласт – имперские образы и переживания РСФСРных администраторов времен перестройки, кануна ускоренного преобразования *нашей страны* из большого Союза в одну из пятнадцати независимых республик.

Еще в 1991 году, при существующем СССР, мало кому известный помощник Анатолия Собчака по внешнеторговой части в интервью кинодокументалисту Игорю Шадхану изложил свое историко-экономическое кредо:

Деятели Октября семнадцатого года заложили мину замедленного действия под это здание, под здание унитарного государства, которое называлось Россия. Ведь что они сделали – они разбили наше отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вовсе, наделили эти княжества правительствами и парламентами. А теперь мы имеем то, что имеем. Но это с одной стороны. С другой стороны, они уничтожили то, что стягивает и сплачивает народы цивилизованных стран, а именно уничтожили рыночные отношения. Уничтожили рынок как таковой, зарождающийся капитализм и единственное, что они сделали, чем держали страну в составе общих границ – это колючая проволока. Как только эта колючая проволока была убрана, так распалась и страна.³

За десять последних лет рыночная и прогрессистско-«общецивилизационная» риторика в устах ставшего президентом чиновника явно отступила на задний план, но претензии к основателям Советского государства остались неизменными и только усиливались, подкрепляясь даже «архивными документами». Отметим особенно и пугающие образы двух «распадов» страны. Еще прямее выражался накануне вторжения в Украину его помощник и бывший министр культуры, прославившийся состряпанной диссертацией:

Современное государство, которое мы привыкли называть Украиной, – исторический фантом, скроенный конкретными тактическими решениями конкретных политиков в конкретных обстоятельствах... И учитывая, что «всей исторической цивилизации – Россия» ни конца ни края нет, то и Украина «не просто неразрывно связана с тысячелетней историей» Российского государства, а «есть сама русская история».⁴

Парадоксально, что под последними тремя словами Мединского подписался бы и Михаил Грушевский, подходящий на роль «автора» современной Украины куда более ненавистного (для бывшего члена КПСС Путина) Владимира Ленина. Просто выдающийся ученый, автор многотомной «Истории Украины-Руси», видел ситуацию скорее зеркально наоборот и справедливо считал историю трех ветвей восточного славянства куда более длинной, чем существование Московского государства и петербургской империи Романовых. Критика Грушевским «обычной схемы» изложения истории восточного славянства еще с известной статьи 1904 года была направлена против телеологии киево-

³ https://lenta.ru/articles/2016/01/24/putin_lenin/ (дата обращения: 11.12.2022)

⁴ <https://www.rbc.ru/politics/22/02/2022/6214cc497947a934b036> (дата обращения: 11.12.2022)

владими́ро-москoвскoй гoсударственнoй преемственнoсти.⁵ XX век дaет, пoжaлуй, нe мeньшe мaтериaлa для пeрeoсмьслeния нoвoдeльных схeм нeпрeрывнoсти нoвeйшeй русскoй/рoссийскoй истoрии.

Тaк, у пиа́рщикa и вoспитaнникa МГИМО Рoссия кaк *свoя цивилизaция* стaнoвится нe прoстo сoнoнимoм гoсударственнoсти, нo и индyльгeнций/oпрaвдaнием прaвoмернoсти лyбoх рaспoряжeний eщe бoлee выcoкoгo нaчaльствa. Тo жe сaмoe бoлee зaмeтнo и в «вaлдaйскoм» дeискyрce, у aвтoрoв врoдe Лyкьянoвa или Трeнинa с нaчaлa вoйнy прoтив Укрaины

И Пyтин, и Мeдинский нa дeлe вoспрoизвoдили oбщиe мeстa мaссовых рoссийских пpeдстaвлeний «из тeх и этиx лeт». Ужe прaмo с 1992 гoдa лyбoмy нaблюдaтeлю бoлee зaмeтнo, кaк в СМИ и учeных сoчинeнияx eщe нeдaвнo пoчти клиширoвaннaя тeмa прoтивoстoяния сoюзнoгo (кoммунистичeскoгo) Цeнтрa и свoбoднoй, *вoзрoждaющeйся* Рoссии уступилa мeстo тoпикe тeрритoриaльнoй и oсoбeннo истoрикo-кyльтyрнoй преемственнoсти *стaрoй* импeрии и *нoвoрoждeннoгo* гoсударствa (тyт мoжнo упoмянyть тoгдaшних извeстных пyблицистoв, врoдe Aлeксaндрa Ципкo). A кaк нaсчeт «эмбриoнa» или прaмoй пpeдшeственницe нынeшнeй Рoссийскoй Фeдeрaции – сoбствeннo, РСФСР кaк сaмoй бoльшoй сoветскoй рeспублики? Пoдoбным жe oбрaзoм для инoстрaнцeв при Стaлинe или Гoрбaчeвe «сoветскaя Рoссия», при всeх нeoбязaтeльных ужe oгoвoркaх, тaк и oстaлaсь пo сyти сoнoнимoм ССССР, a в нoвoм тыcячeлeтии eщe и рeтроспeктивнo oтoждeствилaсь с ним *цeликoм*, кaк этaп рaзвития «нaшeгo гoсударствa». Хoтa и в рaмкaх этoй бoльшoй нeпрeрывнoсти пpeжнe «красныe» вeхи oкaзaлись в XXI вeкe вeсьмa нeудoбными: стoлeтнe юбилeи рeвoлюций 1905 и 1917 гoдoв вo врeмeнa Пyтинa видeлись сoвeршeннo нeжeлaнными нaпoминaниями o кризисe и кoнцe стaрoгo пoрядкa.

Кaк и «вeличaйшaя гeoпoлитичeскaя кaтaстрoфa» 1991 гoдa, эти тoчки рaзрывa пoстoяннo зaмaзывaлись усилиями пoлитoлoгoв, спичрайтeрoв, пишyщих чинoвникoв-идeoлoгoв (врoдe глaвнoгo жeлeзнoдoрoжникa Якyнинa) или близкиx к РПЦ aвтoрoв – рaди пoчти ужe бeзoгoвoрoчнoй, вce бoлee пeдaлирyeмoй «тыcячeлeтнeй нeпрeрывнoсти», прыжкoм чeрeз 70-лeтнyю краснyю пaузy/бeзднy, чeрeз 70-лeтнee «врeмя взлeтa».⁶ Зaлoгoм преемственнoсти был и нeмyдрeныe гeoпoлитичeскиe выклaдки нaсчeт кoнтинeнтaльных прoстрaнств, нeсмoтря нa крyшeниe импeрий и пeрeлицoвкy грaниц, и рeфрeн «вeкoвoгo прoтивoстoяния» вeчнoй Рoссии и кoвaрнoгo Зaпaдa (истoрии Aнтaнты или aнтигитлeрoвскoй кoaлиции тoжe увoдились в тeнь зa нeнaдoбнoстью). Пoслeсoветскoe пoвышeниe стaвoк eврaзийствa – дaлeкo нe сaмoгo зaмeтнoгo и яркoгo тeчeния мeжвoeннoй эмигрaции, пo сyти зaмeршeгo к сeрeдинe 1930-х гoдoв, –

⁵ См. рeпyбликaцию: Грyшeвский М.С. Звичaйнa схeмa русскoй истoрiї й спрaвa рaцioнaльнoгo yклaдy истoрiї схiднoгo слoв'янствa (встyпнa стaття О.В. Ясeя) // Укрaїнський истoричний жyрнaл. 2014. № 5. С. 199-208.

⁶ Oсoбeннo прeуспeли, eщe дo «зaсвeтившeгoся» Тимoфeя Сeргeйцeвa, в сoчинeнии трaктaтoв oб извeчнoй бoрьбe Рoссии и Зaпaдa и yстaнoвoчнoх пoсoбий пo рoссийским скрeпaм «спичрайтeр» Якyнинa, мнoгoпрoфильный истoрик, спeциaлист пo Никoлaю Ульянoвy и тeoрии зaгoвoрoв Вaрдaн Бaгдaсaрян и бывший дeмoкрaт пeрвoй вoлнy, нeкoгдa тoмский инжeнeр-oбoрoнщик Стeпaн Сyлaкшин (хoтa пaльмa пeрвeнствa принaдлeжит вce жe Нaтaльe Нaрoчницкoй).

еще один яркий пример нового идеологического творчества. Разумеется, профессиональные историки тоже включились в этот апофеоз «преемства».⁷ Обсуждение неоднородности Российской империи даже в XIX веке – например, в книге Михаила Дობилова о механизмах «обрусения» Западного края – наталкивалось на характерное обвинение в стремлении «вырвать сознание современного российского общества из имманентности истории и поместить его в иную, искусственно сконструированную культурно-философскую среду»⁸.

Но так ли на самом деле тесно было Российской Федерации в реальном наследственном республиканском костюме – а не в воображаемом великодержавном одеянии? Отчего совершенно невыигрышной, даже при росте популярности советской символики (михаалковского гимна, «знамени Победы») все 30 лет после 1991 года была память относительно промежуточной, до сих пор мало изученной⁹ и почти условной, но зато точно «нашей» РСФСР?

2. «Собирание прошлого»

Мне, как историку, представляется важным отступить от катастрофы 2022 года даже не на тридцать, а именно на сорок или пятьдесят лет назад – и хотя бы кратко остановиться даже не столько на разрывах, сколько на специфических *зияниях /пустотах* в якобы непрерывной истории России второй половины XX века. Именно эти зияния и накладки «советского» и «русского» стали, на мой взгляд, важным истоком настроений, мобилизационных мифов, захвативших в начале 2020-х годов не только кремлевское руководство или пропагандистов, но и огромные массы бывших советских людей, ныне российских граждан – и не только в пределах Российской Федерации! Разговор об остановившейся или даже отсутствующей на протяжении нескольких десятилетий русской истории может показаться малоуместной экстравагантностью. В новой истории европейских народов разве недостаточно примера разделенной Польши, сохранившей преемственность вопреки весьма мощным имперским притязаниям

⁷ В Петербурге особенно последовательными в обличении раннесоветской «руссофобии» были университетские авторы Андрей Дворниченко и Юрий Кривошеев (ученики Игоря Фроянова, специалиста по Киевской Руси), а в Москве – Александр Барсенков и Александр Вдовин (их учебник по истории России даже отозвали сами историки МГУ после публичного скандала начала 2010-х годов). Вокруг «Регнума» Модеста Колерова и его изданий сложилась среда «государственнических» авторов, специалистов по временам последних Романовых – Федора Гайды, Олега Айрапетова, Александра Полунова и их единомышленников. См. характерную статью: Фроянов И.Я. Сталину удалось сделать то, о чем мечтал Данилевский // Он же. Молитва за Россию: Публицистика разных лет. СПб.: Астерион, 2008. С. 567-576.

⁸ Империи, нации и конфессиональная политика в эпоху реформ. Круглый стол // Российская история. 2012. № 4. С. 69 (реплика А. Комзоловой и схожие рассуждения А. Мамонова). Одной из первых на этот «тренд» обратила внимание Мария Ферретти (1958–2018): Ферретти М. Обретенная идентичность. Новая "официальная история" путинской России // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2004. № 4. Затем стоит отметить важные публикации Ольги Малиновой и Алексея Миллера по нынешней «исторической политике».

⁹ Отметим обобщающую книгу: Круглов В.Н. Организация территории России в 1917–2007 гг. М.: Институт российской истории РАН, 2020.

и даже ассимиляционным планам Пруссии/Германии, России или Австрии? ГДР при Ульбрихте и Хоннекере претендовала на подлинную преемственность прогрессивного немецкого наследства – в противовес Западной Германии с ее оглядкой на веймарский период или идеи 1849 года. Каковы вообще критерии и последствия «приостановки»? Так ли уж велика была мощь революционного красного удара – тем более, что уже прямо с начала 1920-х годов не было недостатка в попытках представить новую реальность как продолжение и видоизменение хода именно русской истории. И рассуждения о «национальном типе» покойного Ленина, последующий сталинский «национал-большевизм», даже эмигрантские споры украинцев и «великороссов», до Николая Ульянова или Юрия Шереха, в конце концов «Остров Крым» Аксенова – разве они не свидетельствуют об устойчивости идейных оснований русской истории? Но только ли идейных? Просто, как скажут любители историософии, геополитики или творчества антиковеда Цымбурского, новым правителям третьего тысячелетия силой обстоятельств пришлось перейти с большого объединительного русского проекта (советского) на малый («эрефный») – как в истории германского объединения XIX века выиграл именно путь прусский, а не австрийский, который исторически был даже более древним. Церковная традиция, третьеримские выкладки и, главное, зубчатые кремлевские стены и древние купола пережили и конституции, и танки, и баррикады на Пресне. Переживут, дескать, и теперь даже Бучу или обстрелы Киева, мало ли что было при Скоропадском и Центральной Раде. Гайдамаки уйдут, Турбины останутся или вернутся вновь. Что не так в этой картине российской «большой длительности»?

За сценой этого спектакля культурной непрерывности, «Жизни за царя» и «Александра Невского» в бесконечной перемотке, и в 1990-е годы, и уж тем более сейчас оставалась скрытой многообразная, отличная от российской, жизнь советских республик и бывших имперских территорий – с иными преемственностями, по-разному сложившимися в позднесоветском сплаве «дружбы народов». ¹⁰ Но, может быть, главное в том, что скрытой была и остается реальная история недавно почившей РСФСР. Уже Гасан Гусейнов пронизательно отмечал, как московские и российские почвенники начиная с 1960-х годов содействовали славе «национальных» авторов, вроде Гамзатова или Думбадзе: речь шла о прославлении органического, не «стеклобетонного». Полвека спустя так и не сложившийся до конца советский народ (хороший, правильный и «наш») оказался заменен в построениях околупутинских идеологов народом русским, в состав которого украинцы, да и белорусы то входят без остатка, то «братски живут общей жизнью», но хуже всего – пытаются «отторгнуться» по наущению «националистов». В нужных случаях «наш народ» оказывается и синонимом «гражданской нации» (включая уроженцев Чечни, Дагестана, Карелии или Якутии, евреев, поляков и так далее) – но установки вечной «русской цивилизации», по Мединскому, должны цементировать эту общность еще

¹⁰ Важную информацию о жизни республик до и после 1991 года содержат сборники под редакцией Дмитрия Фурмана в серии публикаций Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова, например: Казахстан и Россия: общества и государства. М.: Права человека, 2004.

надежнее советских прописей или лояльности царских времен.¹¹ Уже дважды эта конструкция пересобиралась – после 1914 года или 1985-го; так чем же будет обеспечиваться заявленная (долго) «вечность» новой сборки?

Тут время напомнить, что «тысячелетняя государственность», о которой так заботится с момента прихода к высшей власти Путин, мнящий себя ее наследником, была прервана в 1917–1922 годах и не восстановлена, но начата с чистого листа абсолютно заново. Это сопровождалось и понятными моментами преемственности, но лишь в политической или, в еще большей степени, в художественной, литературной культуре (стоит вспомнить Пришвина с его дневниками, карьеру Алексея Толстого или «игуменский окрик в декретах» у погубленного Ключева – но, с другой стороны, также Платонова с Маяковским, отсветы совсем иного мира). Слом 1917 года оказался буквально вмурован в виде краеугольного камня в казавшуюся внешне весьма мощной кладку позднесоветской государственности, которая смогла пережить и смерть главного вождя и уход от силовых практик времен Ежова и Берия. Потом демократы и часть высшей номенклатуры (Ельцин был ярким примером, но не единственным) вместе с «националистами» из республик снова вернулись к конструкции 1922 года, которая смогла обеспечить «цивилизованный развод» и в целом уйти от «югославского сценария». Как оказалось – на время. Перемена 1990–1991 годов с точки зрения политических и социальных элит оказалась куда более гладкой, чем та, что случилась после 1917 года.¹² Советская армия, в значительной части на территории РСФСР, переоформилась в российскую куда проще и будничнее, чем на былом переломе от войска «империалистического» к Красной армии.

В России начала 1990-х годов ни о какой реституции, как в странах Балтии или Восточной Европы, речь не шла, и дело преемственности ограничилось символическими жестами, вроде торжественного захоронения царской семьи или нумерации Государственных дум, «возвращения» герба и флага – имперских. 1 сентября 1917 года, начало республиканского правления, для России нынешней праздником не является. Передача государственного долга, диппредставительств и ядерного чемоданчика дополнительно подкрепила «мостик» между СССР и РФ. Подчеркну: легкость перехода централизованной власти от Горбачева к Ельцину в Кремле позволяла тем, кто ностальгировал по империи, трактовать все прочие республики как окраинные полу- или «недогосударства», несмотря на обширность их территорий, да еще при сохранении в ряде новых независимых стран влияния русскоязычной и «москвоцентричной» культуры. Размытость границ советского и русского в 1950–1980 годы

¹¹ Характерны ссылки на учеников Фроянова при попытке отмобилизовать русскую средневековую историю под «концептуальные» нужды СВО у эксперта, весьма далекого от исторического цеха: Бордачев Т.В. О ранней истории и географии российской внешней политики // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 4. С. 22-45 (рядом с материалами Алексея Миллера).

¹² Про поддержку номенклатурой декларации о российском суверенитете летом 1990 года: Елизаров В. Цели и средства: идеи, которые начинают/институты, которые выигрывают // Новое литературное обозрение. 2007. № 1. С. 253-271; Сельцер Д.Г. Взлеты и падения номенклатуры. Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2006.

как раз оставила проект ельцинской «декоммунизации», воображаемого мостика в «нормальный» 1913 год, принципиально незавершенным.

И если протяженность польской или германской истории – «не наш» случай (уже в силу сохранения централизма, пусть в совершенно разных, контрастных обличьях), то не стоит ли выйти ради сравнения за пределы прошлого только европейского? Покойный американский историк Марк фон Хаген (1954–2019) в ряде постсоветских работ – в том числе почти провокативной статье середины 1990-х годов «Есть ли у Украины история», отсылая к опыту заморских империй, писал о сложном складывании нынешней территории Украины от Ужгорода до Луганска.¹³ Имперские привнесения в такой перспективе оказываются не перечеркиванием, но важной частью исторического нарратива, уже совсем иначе ориентированного. Украинская «тяглість», с ее советской составляющей, была иной, чем российская проблематичная непрерывность – но об этом еще предстоит думать в будущем, учитывая, в первую очередь, украинские труды Сергея Плохия, Мирослава Поповича и Сергея Екельчика, Станислава Кульчицкого или Олексия Яся. Ни Франция, ни Испания с их революциями не превращались внутренне, пусть и на бумаге, в союз государств; Украина XXI века – не Шотландия и Каталония в тени и власти великих державных соседок, она давно перестала быть аналогией Прованса, как могла видеться еще во времена Михаила Драгоманова.

Важную же параллель к российской истории XX века, особенно первой его половины, представляет история турецкая: Османская Порта, как и империя Романовых, включавшая Польшу и Финляндию, не пережила исхода проигранной войны. Точно так же сходство Кемаля и его соратников с Лениным с большевиками: борьба с «отжившим прошлым», модернизационная диктатура, эмансипация «низов» в формах нового полувоенного светского централизма уже давно занимала и современников, и сегодняшних исследователей¹⁴. Вот только попятная, антиреволюционная волна в Турции и позднем СССР оказалась разной: на рубеже 1980 и 1990 годов «русская партия» внутри союзной и РСФСРной верхушки, а также внутри КПСС, хотя и уступила демократам, но тем более легко приняла конец советского интернационализма, сложной политики квот и балансов (давления «Центра» с сохранением предпочтений «местных органов»). Зато советское великодержавие оказалось совсем кстати.

Сценарий постсоциалистического перехода в России, как части бывшей СССР, выстроился уже скорее не по турецкой, а по экс-югославской модели, где сербские националисты разных частей политического спектра активно, но выборочно использовали отсылки к прошлому времен Тито и федеративной общности. И все же до 2014 года ревизия границ, в отличие от Сербии, никогда

¹³ von Hagen M. Does Ukraine have a history? // *Slavic Review*. 1995. Т. 54. №. 3. P. 658-673; Idem. From Imperial Russia to Colonial Ukraine // *The Shadow of Colonialism on Europe's Modern Past.*, London: Palgrave Macmillan, 2014. P. 173-193. Portnov A. Mark von Hagen and Ukrainian Studies // *Ab Imperio*. 2019. №. 3. С. 243-250.

¹⁴ См.: Reynolds M. A. *Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires 1908–1918*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011 и важную компаративную книгу исследователя советской культурной революции: Plaggenborg St. *Ordnung und Gewalt: Kemalismus–Faschismus–Sozialismus*. München: Oldenbourg Verlag, 2012.

не была важной составной частью внешнеполитического мировоззрения российской элиты. Югославский сценарий, пример Сербии и Милошевича, при растущих «ресентиментных» симпатиях к ним со стороны Москвы и новой России, первые двадцать лет казался скорее предостережением от попыток прямого реванша. Ничего похожего на меморандум Сербской академии наук и искусств 1986 года в среде интеллектуального истеблишмента Москвы или Петербурга не встречалось – даже на страницах «Нашего современника» или «Молодой гвардии» схожие голоса звучали куда тише.¹⁵ Имена Собчака и Ельцина, а не бесславного Янаева или Крючкова, были записаны в святцы российского политического класса даже начала 2010-х годов.

Важная деталь, касающаяся не только образовательной системы. В каждой из советских республик (союзных и автономных) преподавался местный «гуманитарный компонент» – курс по «своему» языку и литературе; и только в РСФСР он или отсутствовал, или заменялся по-разному краеведением¹⁶. Если обобщающие книги или сводные тома по истории русской литературы выходили – то не существовало «Истории РСФСР»: отдельная государственность Советской России поминалась в первую очередь как феномен ленинского времени, «переходного периода» и окончательного становления СССР между 1922 и 1936 годами. Она существовала внутри СССР как признано крупнейшая административная единица, но в сильно урезанном виде – например, без своей отдельной Академии наук или республиканского ЦК (при Хрущеве для координации было создано Бюро ЦК КПСС по РСФСР, просуществовавшее до 1966 года). Жалобы на «заброшенность» российских проблем и сюжетов на фоне иных республик – один из моментов «ленинградского дела», а еще и вечный рефрен мемуаров и свидетельств 1970–1980-х годов, причем принадлежавших отнюдь не только сторонникам «русской партии» в изображении Николая Митрохина¹⁷. Важное свидетельство культурного возвращения «русских сюжетов» еще в застойный период, помимо продукции писательских организаций РСФСР, – «Заметки о русском» Дмитрия Сергеевича Лихачева; показательно что возражения Леонида Баткина авторитетному академику из 1980 года смогли быть напечатаны только на исходе перестройки, летом 1991 года¹⁸. И все-таки: является ли отсутствие школьного курса «истории РСФСР» в важное, до сих пор как будто «теневое» советское тридцатилетие между Сталиным и Горбачевым, достаточно весомым доказательством заявленного сильного

¹⁵ Обобщение дискуссий 2000-х годов: Зверева Г. Как «нас» теперь называть? Формулы коллективной самоидентификации в современной России // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2009. № 1 (99). С. 72-85.

¹⁶ Ср.: Гибатдинов М.М. Преподавание истории татарского народа и Татарстана в общеобразовательной школе: история и современность. Казань: Алма-Лит, 2003.

¹⁷ О месте «реабилитации» РСФСР в «ленинградском деле» см.: Хоскинг Дж. Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе / пер. с англ. В. Артемова. М.: НЛО, 2012. С. 287-292. Показательно сходство тона очень разных персонажей – пензенского либерального партийного руководителя времен «застоя» и краеведа Георга Мясникова: Мясников Г.В. Страницы из дневника (1964–1992). М., 2008 и его антипода, консерватора из союзного Совмина: Шкабардия М.С. Живое дыхание эпохи. М., 2016.

¹⁸ Письмо из 1980 года: с заметками «О русском» Д.С. Лихачева спорит историк культуры Леонид Михайлович Баткин // Независимая газета. 13 августа 1991. 13 августа. № 95. С. 5.

тезиса о *приостановке* русской истории, ее почти полном растворении в «советском»? Мы снова возвращаемся к вопросу о разных измерениях преемственности, из которых российская власть (и даже ее оппоненты) всегда предпочитают культурно-идеологическое, выдавая его за цивилизационное.

На мой взгляд, в XX столетии прежняя русская история – в социальном измерении – действительно приостановила течение свое (пусть и не совсем по Щедрину), поскольку после 1917 года, хотя и не одномоментно, видоизменилась радикально. После этого она продолжилась в новом масштабе, с новыми качествами и с другим, советским (а не русским) именем. Партхозноменклатура – не просто «замена» царскому чиновничеству, как могло показаться разве что во времена НЭПа.¹⁹ Контуры разрыва – судьбы вычищаемых предпринимателей, преследование зажиточных или «средних слоев», раскулачивание и, главное, конец прежнего крестьянства как раз на исходе Оттепели – все это было достаточными маркерами пересоздания «станового хребта» общества уже действительно нового типа.²⁰ Возвращение русских сюжетов в десятилетие до начала войны и сталинская кампания «отечественного превосходства» (предмет изучения Дэвида Бранденбергера и его коллег) происходили уже под крышкой «советского патриотизма», порой с явной антисемитской печатью. И стоило даже в самые мрачные послевоенные годы резвым перьям перебраться с «русским духом» (как у Аджемьяна или Бушуева среди историков) – они так или иначе «получали окорот», и не только от бдительных интернационалистов.²¹ Ни рост влияния «русской партии» в КПСС после 1956 года, ни запрос на «русскую тему» в массовой советской культуре²² (туристские маршруты «Золотого кольца» или разносторонняя работа русской эмиграции), ни многотысячные перестроечные тиражи «Вех» и Бердяева (усилия таких разных гуманитариев и неравнодушных к «русскому» авторов застойных лет и разных поколений, как Лихачев, Лосев и Леонов, Живов или Бибихин) не смогли обеспечить «связь

¹⁹ См. книги историков из регионов: Мохов В.П. Региональная политическая элита России (1945–1991 годы). Пермь, 2003; Коновалов А.Б. Партийная номенклатура в Сибири в системе региональной власти (1945–1991). Кемерово, 2006; Никифоров Ю.С. Верхневолжские регионы РСФСР и союзно-республиканский центр (1950–1980-е гг.). Ярославль: РИО ЯГПУ, 2021, и т.д.

²⁰ Отмечу важную книгу вологодских исследователей конца русского крестьянства, в частности : Безнин М.А. Димони Т.М., Гулин К.А. Экономический строй России 1950–1980-х годов. Вологда, 2021. См также: Дмитриев А. После освобождения: «Великие реформы» и хрущевская оттепель в перспективе российской исторической мысли // Новое литературное обозрение. 2016. № 6. С. 129–166.

²¹ Юрганов А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М.: РГУ, 2011. С. 290 и след. Важные свидетельства об этом остались в откровенном дневнике дожившего до августовского путча историка славянофильства из МГУ Сергея Дмитриева (1906–1991), который наверняка увидит свет в достаточно полном виде. Мухина Е.Н. Профессор С.С. Дмитриев (1906–1991): его дневники и семейная переписка // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2020. № 5. С. 100–118.

²² Песни «Русское поле» (И. Гофф), «Ты припомни, Россия, как все это было...» (М. Анчаров), «Я люблю тебя, Россия» (М. Ножкин) появились почти одновременно на рубеже 1960-х и 1970-х годов – в тогдашних кино- и телефильмах (благодарю Евгения Добренко за это указание).

времен» 1913 и 1992 годов – как бы ни хотелось думать дожившим до второй даты.²³

Пушкин и Толстой на полках обитателей «Дома на набережной», Кировский балет как наследник Мариинского, бесчисленные переиздания сказок Афанасьева или все менее востребуемых «народных сказительниц», и возвращение умирающего Куприна в год большого террора, советские публикации Бунина после смерти «воздя народов», визиты Игоря Стравинского или Романа Яacobсона – были очень важными, но все же только культурными маркерами русской «связи времен» второй трети XX века. Новая Россия Ельцина воображала свое «возвращение к истокам» на таком позднесоветском социальном субстрате, который был весьма отличным от, казалось, типологически довольно схожих обществ стран восточной Европы или даже Балтии. Там вытесненными оказывались «всего» 40 лет «истории в оккупации»; эрозия и крах установок коммунистических элит были явными и очевидными. Культурная и отчасти идеологическая преемственность «старой» и «советской» России/Союза республик, исподволь утверждаемая с послесталинских времен, скрывала и скрадывала разность социального устройства и государственно-правовые отличия совершенно несхожих типов социума, отделенных дистанцией куда более серьезной.

После 1991 года, на исходе недолгой горбачевской попытки представить перестройку «продолжением Октября», большевистский и социалистический разрыв/конец русской истории был сознательно и окончательно спрятан в энциклопедии и преимущественно цеховые студии – как феномен чужеродный, антигосударственный и якобы «инспирированный извне». Зато связь 1980-х с 1990-ми, при всех крупнейших сдвигах 1991 года, да еще под знаком обретения «России, которую мы потеряли», была достаточно крепкой, что позволило и уже на вековом отдалении видеть сцепку 1910-х и 1920-х более сильной, чем она была десятилетия назад на самом деле.

Вся эта умышленная и регулируемая двойственность советского и русского на исходе «государственного социализма», а также их последующая спутанность далеко не случайны. Соответственно, советское после 1991 года нужно было (как в Беларуси) без левой или эмансипационной составляющей, в комбинации государственного патернализма и преимущественно неолиберальной экономической политики²⁴. И как раз Беларусь дала уроки весьма эклектичного соединения, прилаживания большой советской ностальгии и локального республиканского прошлого – к попыткам сформировать и заложить в систему образования «основы государственной идеологии». Имперский принцип в

²³ Отдельного обсуждения требует труд социолога Валентины Федоровны Чесноковой (1934–2010), подготовленный в конце 1970-х, но оставшийся «самиздатным» – книга «О русском национальном характере». Автор, скрывшаяся под псевдонимом Ксения Касьянова, была внимательной переводчицей Парсонса, сотрудничала с нелегальным Фондом помощи политзаключенным Солженицына и стала затем исследовательницей постсоветского православия (в ее круг входили Виталий Найшуль, Леонид Блехер и другие).

²⁴ Попытка зафиксировать феномен исторической укорененности постсоветской системы, с отсылкой к давним работам Симона Кордонского: *Нова ли новая Россия / под ред. О.И. Шкаратана и Г.А. Ястребова*. М.: Университетская книга, 2016.

России оказался востребован не как рухнувший (чтимая руина образца 1990–1992 годов), но как вечно живой, поруганный могучим внешним врагом, дважды «преданный» за XX век и вот теперь утверждаемый заново. «Гордость за Россию» по образцу Путина или новой пропаганды подразумевает именно советский территориальный масштаб, с желательным добавлением бывшего соцлагеря как «законной добычи» из 1945 года.

3. Вместо «вечной России»

Подводя итоги – историкам настоящего и будущего важно разбираться не только в этом показательном союзе поклонников Победоносцева и Андропова под знаком «восточнославянского братства», антизападных чувств, зюгановской соборности/коллективизма или целостности церковного предания. Важно подчеркнуть еще и еще раз: в виде «вечной России» разным аудиториям усилиями пропагандистов, прикомандированных спецов-ученых и духовных лиц преподносится конструкт многослойный и взрывоопасный. Могло ли это все же не «рвануть» полномасштабной войной? Детонатором или опасной ловушкой (помимо страха «внешнего контроля», «утраты суверенитета») стала, на мой взгляд, именно историческая озабоченность: «культ Победы», желание разом поквитаться за проигрыш в холодной или Первой мировой войне за счет сакрализации «переизобретенного» 1945 года, с Гитлером как главным «исчадьем Запада».

1917 год подвел черту под прошлым России как империи и начал историю нового типа государства. «Советский век» подвесил и закончил прежнюю русскую историю, изменил ее основы тем, что попытался разом и отделить ее территориальный остов от соседних стран-республик и одновременно растворить русское/российское в новом идеологическом и принципиально наднациональном единстве. Идеология улетучилась, а само растворение и изживание нежелательной социальности оказалось куда устойчивей. Когда внешнеполитическому эксперту-«тяжеловесу» Андрею Кортунову нужно было в начале военного конфликта хоть как-то сформулировать на «валдайском языке» конечные принципы нового противостояния России с Западом, ему на помощь пришли вроде бы неопределенные, но интуитивно схватываемые полярные постулаты строительства общества, соответственно, *сверху* – или *снизу*²⁵. Эту прочерчиваемую из Москвы вертикаль, конечно, легко и удобно интерпретировать как отражение «извечного русского централизма», «всегдашнего» единения вокруг властного центра – и все же ее чертеж и вектор явно заданы актуальными интересами и обстоятельствами самое большее полувековой давности, а не древними скрепами или «цивилизационными архетипами». Советское начальство не было просто преемником или наследником царского – а вот пу-

²⁵ <https://inosmi.ru/20220524/ukraina-254257551.html> (оригинальный материал для Economist – <https://www.economist.com/by-invitation/2022/05/20/andrey-kortunov-offers-three-scenarios-for-the-end-of-the-war-in-ukraine>) (дата обращения: 11.12.2022)

тинская номенклатура сталинско-брежневские корни читит, добавляя к ним губернаторские или сенаторские портреты и генеалогии имперских лет²⁶.

У РСФСР оказалась принципиально ослаблена собственная историческая идентичность – она была отдана «большому», главному и настоящему государству: СССР. Глубокий разрыв между первыми двумя из трех форм «русской власти» и государственности XX века: имперской, советско-республиканской и (квази)федеративной – не мог быть «залечен» ни в начале 1990-х, ни, уж разумеется, сейчас. Именно 1917 год – не только русский, но украинский, финский, мусульманский, кавказский и так далее – как ничто другое ставит под вопрос само наличие основы для преемственности. Несмотря на неподдельный, многолетний энтузиазм эмигрантов разных волн, восстановителей храмов или купеческих династий перестроечных и последующих лет, *возвращаться* было по сути некуда. Отмеченная выше «плавность» второго, послеперестроечного слова была неслучайной. «Новая русская» история, история уже путинской РФ, оказалась – при наличии совсем иных и противоположных принципов и тенденций – все же каким-то анаморфозом практик, идей и установок условного 1984 года. Отправить весь мир целиком в ядерный кошмар в 2022 году грозят не «законные наследники» русской истории, а бывшие советские комсомольцы, начитавшиеся Пикюля и Льва Гумилева, а вкуче с ними и Солженицына. И вынесло наверх, под красным знаменем декоммунизации и с криками «гойда», именно их. Дмитрий Медведев не случайно совсем позюгановски отсылает на новом «ноябрьском празднике» в 2022 году именно к общесоветскому, а не эресефесерному образному ряду, утверждая, будто только «сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества». Так не эта ли погибель совсем недавно именовалась и считалась праздником возрождения?

Слишком поверхностно было трактовать начатую Путиным войну и даже декларативный крестовый поход против Запада исключительно проявлением неосоветского синдрома, выводя из-под критики действительно существующие и пусть слабо, но «окликающиеся» установки и традиции, например, романовских или ельцинских времен. Эти принципы и традиции – *наши*, сколько бы кавычками не заслоняйся, и все же российскими их можно считать довольно условно: буквально по имени, номинально. Суть была почти разрушена не только в гражданскую войну и слепилась заново не по Локку или Сахарову. На месте давней имперской России и великорусской народности лежат уже несколько археологических слоев: революционно-советский, сталинский, брежневско-горбачевский и ельцинско-«новорусский». И все эти слои, вместе с «прадавней» и полувоображаемой основой, на переломе 2021-го и 2022 годов оказались створками для воронки чудовищной и гибельной войны. Смогут ли ушедшие глубоко в тень республиканский пласт и опыт позитивного, мирного

²⁶ Важная работа о сравнительной истории советской системы в целом принадлежит уроженцу Харькова и знатоку украинской статистической школы Анатолию Вишневскому (1935–2021), выдающемуся демографу и автору романа «Перехваченные письма», который был посвящен судьбам деятелей первой русской эмиграции: Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. 2-е изд. М.: ГУ-ВШЭ, 2010.

жизнеустройства, только разом с более важными сейчас силами внешнего неприятия и сопротивления, перебороть имперский и подавляюще-державный принцип – решит динамика кризиса. И в первую очередь воля украинцев. Вот только цена уже слишком, непомерно дорога.

МАРИЯ МЕНЬШИКОВА

Левые и война в Украине

Открытая военная агрессия России против Украины, начатая 24 февраля 2022 года, заставила левые силы по всему миру определиться, с кем они, – и выбор многих европейских левых стал не таким последовательным, каким его ожидаешь увидеть от сторонников антиимпериалистических идей и борьбы с любого рода угнетением.

В чем состоят аргументы тех левых сил, которые не считают, что Украине нужно оказывать военную поддержку?

В начале февраля этого года, когда российские войска стягивались к границе с Украиной, европейские левые организации, следившие за ситуацией, были против какой-либо помощи от НАТО для Украины на случай военной агрессии. Не только потому, что они выступают против существования НАТО как пережитка холодной войны, но и потому, что это может привести к эскалации и, наконец, полномасштабной войне (при этом уже существующая «гибридная» война России на территории Донбасса не принималась во внимание).

Такая позиция на начало февраля не выглядит нерациональной или оторванной от реальности, ведь за год до этого российские военные тоже проводили учения у границы, а мировые СМИ сообщали о скоплении войск. Тогда учения так и закончились учениями. Но аргументы против военной помощи Украине не перестали звучать и после нападения российских войск на украинские города. Обоснование все то же: не допустить «эскалации» – например, об этом писал лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон – или «затягивания» конфликта. Против «разжигания конфликта» – то есть против военной помощи Украине со стороны США – выступили «Демократические социалисты Америки», движение бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса. Спустя почти полгода после начала открытой военной агрессии, когда я пишу этот текст, очевидно, что аргумент против «затягивания» не может быть актуален. Ретроспективно можно только сожалеть о том, что тяжелое наступательное вооружение от США, европейских стран и Турции не пришло в Украину раньше.

Есть и другая сторона аргумента о недопущении «эскалации». Она состоит на том, что полномасштабное вмешательство иностранных сил в войну в Украине может привести к ядерной войне. Действительно, сейчас только наличие ядерной кнопки у Путина сдерживает страны НАТО от того, чтобы отбросить российские войска за пределы Украины. Но ядерный шантаж не подействовал на украинский народ, который сопротивляется, несмотря на угрозу удара или спровоцированной аварии на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Но этот шантаж почему-то подействовал на Ноама Хомского, который предостерегает от ядерной войны и выступает против поставок тяжелого вооружения Украине. Война в Украине со всей ясностью показала, что ядерное оружие не является сдерживающим фактором для агрессивных сил и не помогает сохранить мир между странами – другими словами, не обеспечивает международную безопасность, а наоборот подрывает ее. Вопрос о ядерном

разоружении останется актуальным и после окончания войны в Украине, стране, которая отдала России все без остатка ядерные запасы в обмен на суверенитет. Очевидно, что ядерное разоружение не может быть частичным и компромиссным, если мы хотим добиться безопасности в реальности, а не на бумаге.

Левые ставили под вопрос само существование НАТО, инструмента американского империализма, ведь блок, задуманный как оборонительный, не самораспустился после окончания холодной войны, а начал военные вторжения в другие государства и расширился на восток. Но 24 февраля 2022 года, через три десятилетия после распада Советского Союза, Путин подарил НАТО новый смысл существования и в прошлом, и в будущем, доказав, что противником блока является наследница СССР – Российская Федерация.

И здесь находится самая большая точка раскола левых – антиимпериализм. Точнее, то, как его интерпретировать. После нападения российских войск на Украину повторилась ситуация, которую британско-сирийская активистка Лейла Аль-Шами назвала «антиимпериализмом идиотов»: приравнивание империализма как такового к действиям исключительно США. Такое понимание империализма приводит к тому, что под антиимпериализмом имеется в виду исключительно антиамериканизм. Из этого вытекает следующее: если в войне империалистические США занимают сторону Украины, а в империалистическом характере российской агрессии сомнений нет, то не следует поддерживать в конфликте какую-либо сторону и тем более поставлять оружие; лучше абстрактно призывать к прекращению сражений и отводу войск в исходные позиции.

В том, что война стала возможной, винят Америку и НАТО – на страницах Jacobin (в первую очередь в статьях Бранко Марчетича) и Junge Welt, в немецкойлевой партии, tankies на реддите. Функционеры КПРФ идут дальше и повторяют пропагандистские нарративы об украинских ультраправых, зарывая в землю самую слабую надежду на демократическое обновление партии. Надежду, которая появлялась всякий раз во время выборов любого уровня, когда КПРФ делала ставку на свой оппозиционный, а не сервильный потенциал.

Здесь нужно сделать небольшое отступление. Проблема неонацизма – общая для европейского континента. И нельзя не заметить, что главным пиарщиком «Правого сектора» еще во время Евромайдана стала российская телепропаганда. Такая непримиримость именно к украинским ультраправым никак не мешала российскому государству проводить в подконтрольном Крыму «антифашистскую конференцию», на которую были приглашены представители европейских партий ксенофобов и националистов. Это говорит только о том, что российское государство цинично делит ультраправых на своих и чужих: ультраправые – угроза и зло не сами по себе, а только тогда, когда они имеют противоречия с российским государством. У сторонников расового или национального превосходства нет противоречий с российским режимом до тех пор, пока их интересы совпадают. И такую беспринципную Realpolitik в российской пропаганде почему-то называют антифашизмом. На деле же существование ультраправых в Украине, их число и реальная степень влияния в обществе (заметим, что в украинском парламенте даже нет крайне правых партий) не имеют

никакого отношения к «украинским неонацистам» из российской пропаганды. «Украинские нацисты» – это не какие-то настоящие сторонники античеловеческих идей, а ругательное слово для расчеловечивания любых жительниц и жителей Украины, которые не признают над собой российского господства. Тем горше слышать, как политики из главной российской оппозиционной партии, которая причисляет себя к левому спектру, сливаются в едином порыве с самыми беспринципными государственными пропагандистами.

Было бы слишком просто поддаться искушению и представить, что война в Украине – это повторение ситуации Первой мировой войны. Ведь когда буржуазные правительства начинают новый передел мира, долг социалиста и коммуниста – заявить, что главный враг сидит дома, не поддерживать ни одну из сторон и требовать мира, как сделала редакция портала «Ліва». Еще Ленин в 1915 году предостерегал от социал-шовинизма и защиты интересов собственно буржуазного правительства под видом «обороны отечества». В войне развитых капиталистических стран не может быть той, на чьей стороне справедливость. По этой логике, и украинским, и российским солдатам следовало бы давно осознать свои совпадающие классовые интересы и обернуть оружие против своих правительств.

Но за что на самом деле воюют украинские солдаты? Действительно ли они воюют за свое «буржуазное правительство»?

За всей критикой расширения НАТО и его военных кампаний, американского империализма, разговоров о неизбежности войн при капитализме оказывается потеряна сама Украина и ее народ. Левый дискурс о противостоянии России и НАТО ничем не отличается от картины мира, который существует в дискурсе геополитики, заменяющей общества, группы людей и их интересы на надчеловеческие интересы держав и межгосударственных объединений. В этом представлении реальные украинки и украинцы заменены фигурами на шахматной доске.

На вопрос, нужно ли поддерживать украинскую армию в войне против Путина, дали ответ те украинские левые, которых сложно заподозрить в патриотизме, – анархисты. На стороне Вооруженных сил Украины воюют до 150 антиавторитарных левых. Комитет Сопrotивления, выступающий как координационная площадка, выпустил манифест, в котором назвал войну в Украине продолжением борьбы народов за освобождение от авторитаризма, очаг которого находится в Москве.

Антиавторитарии и либертарии предлагают списать внешний долг Украины: это не только помогло бы стране восстановиться экономически, но и стало бы хорошим прецедентом деколониальной практики для стран Глобального Юга. Пожалуй, это требование заслуживает не меньшей адвокации, чем требование поставок вооружений Украине. Тарас Билоус из украинского движения «Соціальний рух» также выступает за списание внешнего долга. Пока популисты в Европе пытаются заработать очки на критике повышения цен из-за санкций против России и требуют их отменить, прогрессивные левые поддерживают ограничения относительно российских нефти и газа. За санкции и поставку тяжелого вооружения Украине выступили в совместном заявлении «Соціальний рух» и «Российское социалистическое движение».

За антивоенную позицию были арестованы многие, в том числе московские левые политики Михаил Лобанов и Сергей Цукасов. Лобанову дали 15 суток за посты со словами: Путин «ведет классовую войну против нас». Лобанов вместе со своей командой использовал сентябрьские муниципальные выборы в советы депутатов как повод выразить протест против войны и составил свой список консолидированного голосования за оппозиционных антивоенных кандидатов. Цукасов отсидел 30 суток за антивоенный пикет. Вместе с другими депутатами района Останкино Цукасов выступил с открытым письмом против привлечения солдат-срочников к участию в «специальной военной операции». В разгар предвыборной муниципальной кампании Цукасова посадили еще на 15 суток.

В начале марта оппозиционные депутаты КПРФ и их избиратели запустили открытое письмо, в котором назвали поддержку империалистической (по Ленину) войны против Украины позором. Война стала возможной, считают коммунисты и социалисты, из-за вопиющего неравенства, и, по их мнению, сверхбогатые смогут сохранить деньги и имущество даже несмотря на санкции. Авторы потребовали прекращения войны в Украине и одновременно социальных преобразований в интересах большинства в России. Сразу после начала военной агрессии несколько депутатов Госдумы от КПРФ осудили вторжение, но спустя месяцы войны их голоса больше не слышны, а в самой КПРФ, комсомоле и парламентских фракциях, где есть беспартийные депутаты, прошли чистки тех, кто отклонился от провоенной линии.

За рубежом против войны выступили турецкие маоисты, японские и индийские коммунисты, аргентинские троцкисты, греческие сталинисты, британские социалисты. Партии и движения по всему миру осудили российскую империалистическую агрессию и капиталистический порядок, в которой она стала возможной. Габриэль Борич, Лула да Силва, Берни Сандерс, Джереми Корбин: их реакция на вторжение была однозначно осуждающей.

Война повлияла на внутреннюю повестку многих левых. Турция требует от шведского социал-демократического правительства выдать курдских антиавторитарных активистов, которых та считает террористами, в обмен на свое согласие на вступление Швеции в НАТО, как того захотели сами шведы после начала российской агрессии. Левые призывали не допустить присоединения к альянсу. В Германии «пониматели Путина» вроде Грегора Гизи начинают признавать свои ошибки, но в то же время Сара Вагенкнехт требует отменить санкции против России и остановить «экономическую войну» (под аплодисменты правопопулистской «Альтернативы для Германии»), как будто это Германия объявила бойкот российскому газу, а не российская сторона манипулирует поставками.

Многие левые, выступившие против российской агрессии, заняли удобную позицию абстрактного пацифизма. Из исключений в этом ряду – недавний колумнист Russia Today и самый известный социальный философ современности Славой Жижек, молодежная организация Лево́й партии (Германия), которая пошла наперекор однозначной партийной позиции за запрет экспорта оружия куда бы то ни было. Действительно, в экспорте оружия как таковом нет ничего, что могла бы оправдать современная левая мысль. Оружие всегда может попасть не в те руки, как это уже случилось с «калашниковыми», отправленными из СССР для поддержки национально-освободительных, антиколони-

альных движений. Никто не хочет повторения этой истории. Однако если в абстрактной пацифистской позиции и есть последовательность, то в ней точно нет осознания того, что не всякий благодушный призыв к миру приблизит желаемое. Призывать к миру удобно там, где не падают бомбы и не взрываются мины. Но левые – это те, кто занимает сторону угнетенных и смотрит на мир их глазами, а не глазами тех, кто достаточно привилегирован, чтобы требовать мира ради возвращения довоенной нормальности. Именно поэтому требования сложить оружие и заключить скорейший мир без оглядки далеки от того, чтобы их можно было считать достойными повторения.

В отличие от Советского Союза, у Путина нет прогрессивной утопии. Если он и предлагает что-то, то лишь карикатуру из прошлого века с «традиционными ценностями», «красивыми женщинами» и без «гендерных свобод» (что бы это ни значило). Тот «русский мир», который Путин несет на штыках, не представляет собой какой бы то ни было позитивной альтернативы для украинцев. В «русском мире» нет общества, коллективностей, отдельных людей или человека – в нем есть только территории, по которым идут государственные границы и линии фронта.

Если Путин не предлагает позитивной альтернативы, то левым необходимо создать ее самим. И если путь к этой альтернативе идет через сражения на стороне украинского народа с американским оружием в руках, то даже самый верный приверженец марксизма не сможет обогнуть этот поворот истории. Не только создать такую альтернативу, но и поверить в ее осуществимость – задача, которую левые смогут решить только сообща.

ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ

Империя, или саморасширяющаяся пустота

Загляните в глаза русского человека – и вы увидите там себя, но не только себя, а может, и то, что вы еще не знаете о себе.

Юрий Мамлеев. «Россия Вечная»

Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.

Петр Чаадаев. «Философические письма»

Посмотри на меня! Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь!

Из выступления заместителя постпреда РФ при ООН В.К. Сафронкова

В последние шесть месяцев, в течение которых продолжается бессмысленная и кровавая война в Украине, вероломно развязанная Российской Федерацией, а также постоянно звучат эмоциональные и более хладнокровные интерпретации происходящего, пожалуй, стало общим местом говорить о колониализме применительно к действиям страны, начавшей этот вооруженный конфликт. Иначе как экспансионизмом, призванным расширить и без того совершенно неогладную территорию, трудно объяснить этот бросок в сторону суверенных западных земель. Замечу, что практически невозможно разделить два аспекта проблемы – идеологический и, скажем так, топический, которые оказываются теснейшим образом переплетенными друг с другом. Поясню эту мысль. Идеологически мы уже слышали высказывания о том, что России «тесно и скучно» в ее нынешних – большевистских, точнее, «похабных» – границах (аллюзия на подписанный В.И. Лениным в 1918 году Брестский мир). А раз так, то «впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной». Эти слова, как мы понимаем теперь, были произнесены с полным знанием дела, и оттого они звучат особенно зловеще и цинично.¹ Мы также знаем, при каких обстоятельствах одержимые неоимпериализмом государства обосновывали свои территориальные претензии в XX веке, какими бы оборонительными целями они ни прикрывались (кому-то уже было «тесно» в своих границах, и, к сожалению, не раз). Различить империализм как род идеологии и как практику захвата территорий очень сложно, если вообще возможно. Тем не менее, я попытаюсь рассмотреть то, что стало вполне конкретным – и ужасающим – про-

¹ Заметка автора данного высказывания, Владислава Суркова, бывшего помощника президента РФ по Украине, появилась в Интернете 15 февраля, за девять дней до военного вторжения: Сурков В. Туманное будущее похабного мира // Актуальные комментарии. 15.02.2022. URL: <https://actualcomment.ru/tumannoe-budushchee-pokhabnogo-mira-2202150925.html> (дата обращения: 11.12.2022).

явлением «контактной геополитики» с точки зрения импульса, заложенного в самом стремлении к расширению и удержанию пространства.

Невозможно поверить, что все как будто начинается сначала и что в постколониальную эпоху мы снова переживаем состояние, которое казалось навсегда преодоленным. Чаадаев назвал бы это дикостью или по крайней мере снова увидел бы в этом «пробел в интеллектуальном порядке», отделяющий Россию от цивилизованных народов, к которым он прежде всего относил объединенные христианской идеей народы Европы.² Однако такая «непостижимая судьба», под чем Чаадаев понимает обособленность или мировое одиночество, а проще говоря, непринадлежность к исторической семье народов, сегодня, в совсем ином международном и общественно-политическом контексте, оборачивается провозглашаемой освободительной миссией, окрашенной в мессианские тона («освобождение» Украины от «нацизма»). Вот он, тот извращенный урок, который, как и предвидел записанный в сумасшедшие критик, России суждено преподать не только миру, но и отдаленным потомкам. Если не часть человечества, то что же? Парадоксальным образом этот мучительный для Чаадаева вопрос превращается в идею космологической избранности Вечной России у современного писателя Мамлеева: даже если «историческая Россия» каким-то образом потерпит крах, то «эта катастрофа на Земле не будет крахом русской идеи вообще – как метафизическая реальность Вечная Россия неуничтожима, и неуничтожима реальность ее воплощения на разных уровнях», – со всей уверенностью заявляет он.³

Мистические рассуждения Мамлеева, в которых метафизика русскости не так далека от фашизма, как это может показаться (о чем, однако, следовало бы поговорить отдельно), гораздо ближе к идеологическим построениям сегодняшних российских «патриотов», чем горестные сетования Чаадаева на отлученность России от судьбы цивилизованных народов. Русскость у Мамлеева, даже как метафизическая идея, предполагающая целый веер воплощений и реинкарнаций – от иных России во времени и пространстве до иных существ, чем люди, – щедро доминирует над человечеством: «...сама идея России... выше идеи человечества...», «Россия сама должна создать собственное человечество», «Что же касается “современного человечества”, среди которого мы живем, то не его спасать надо, а, наоборот, от него спастись».⁴ А все потому, что Россия – это великий Посредник между Богом и Бездной, или между Абсолютом и тем, что «вне Его», притом что в строгом смысле запредельность описанию не поддается. Велико искушение продолжить дальше этот разбор, хотя признать Мамлеева идеологом «специальной военной операции» я спешить не буду. Хочу лишь подчеркнуть, что в этих отвлеченно-эзотерических выкладках, отсылающих то к исихазму, то к Веданте, то к сочинениям Рене Генона, улавливается один отчет-

² Чаадаев П. *Философические письма* / пер. с фр. Д. Шаховского. СПб.: Азбука, 2020. С. 37.

³ Мамлеев Ю. *Россия Вечная*. М.: Изд. группа «Традиция», 2020. С. 160.

⁴ Там же. С. 165, 155. Среди весьма немногих именных ссылок в книге Мамлеева можно найти такое весьма красноречивое упоминание Александра Дугина, подтверждающее особое измерение русскости, или русской идеи: «...существуют, например, согласно высказываниям А. Дугина, животные, демоны, ангелы, люди и русские» (Там же. С. 152).

ливый мотив: трансценденция превыше всего остального, естественно, включая и живое. Не случайно в самих русских Мамлеев предлагает видеть не соратников по жизни, а «сопутников после смерти» – «бездноносителей, которые, возможно, будут сопровождать тебя не просто в других мирах, но именно в высшей России...».⁵ В этих «русских запредельно-метафизических пространствах», может, и откроются непостижимые загадки, но там уже точно никого не останется в живых. С материалистической точки зрения, разумеется. По моему глубокому убеждению, такая «русская идея» как нельзя лучше отражает дух и содержание нынешней колониальной экспансии: там, где имеет место чистое приращение пространства, напрочь игнорируется жизнь.

И все-таки Юрий Мамлеев больше известен как автор гротескного романа «Шатуны» (1966). Я не могу обойти молчанием этот факт, поскольку какие бы отдельные мысли по поводу «русской идеи» ни высказывал писатель, они обретают объемность только в сочетании с миром художественного вымысла, устроенным по собственным законам. В памяти всех читавших этот роман остается, возможно, не главный герой, но, безусловно, самый запоминающийся – Федор Соннов, угрюмый «шатун» из народа, привыкший беспричинно убивать людей с подчеркнутым «внутренним безразличием». Перед этим серийным убийцей, лишенным намека на какие-либо психологические проявления, как будто стоит задача познать тайну смерти сугубо «эмпирическим» путем. «Может я сказку убиваю, а суть ускользает?!..»⁶ – печалится Федор над телом убитого юноши. Можно сказать и по-другому: протыкая физическую оболочку своих случайных жертв, Федор стремится проникнуть в запредельное, прикоснуться к Бездне, а это, как считает сам Мамлеев, ни для кого не остается без последствий.⁷ Для Федора убийство – это его примитивный – «контактный» – способ исследования Абсолюта (в отличие от городских интеллигентов, ведущих бесконечные метафизические споры, причем, как правило, в убогой обстановке). В этом образе поражает подручность и инструментальность насилия, его обыденная всеохватность. Позволю себе заострить это впечатление замечаниями Дугина, опубликованными в «Независимой газете» еще в 1995 году: «Убийца Федор на самом деле никого не убивает. Он силится мыслить, тянется осознать себя, шум русской своей крови, замороженной миссией, заколдованной пробуждением, обрученной с последней тайной». Что же это за миссия? Отходящая душа каждой жертвы служит своеобразным лифтом, который уносит его «в мир более подлинный, чем безвоздушные тени земли». Однако Федор больше, чем отдельный персонаж. «Это русский народ, беременный метафизическим бунтом, плотски и жадно ищущий плеромы. Руша, он освобождает сокровенное нутро. Преступая, он жертвенно размазывает по горизонтали са-

⁵ Там же. С. 180.

⁶ Мамлеев Ю. Шатуны // Libfox. [Б.д.]. URL: <https://www.libfox.ru/157134-yuriy-mamleev-shatuny.html#book> (дата обращения: 11.12.2022).

⁷ См.: Радашкевич А. Планета незаснувших медведей. Беседа с Юрием Мамлеевым в связи с французским изданием романа «Шатуны» // Остров-сайт. 2007 [«Русская мысль» (Париж), № 3637, 5 сентября 1986 г.]. URL: http://radashkevich.info/publicistika/publicistika_205.html (дата обращения: 11.12.2022).

мого себя, чтобы проступила вертикаль».⁸ И в этом себя проявляет его многовековая мучительная дума об Ином.

Хотя приведенные слова являются всего лишь интерпретацией, в них, как мне представляется, схвачено и передано нечто, имеющее отношение к русской культуре, или, точнее, к тому, как в ней на новом историческом витке преломляется «русская идея». Речь идет о пренебрежении к живому и земному во имя трансценденции, как бы та ни понималась – как Бог, Великое Неизвестное (еще одно определение Мамлеева), Абсолют, Запредельная Бездна или всего лишь вертикаль. Но этого мало. Как показывает сам Мамлеев, насилие становится способом организации всего окружающего Федора пространства: в нем люди посядают самих себя, превращаются в куро-трупы, мучают животных, зверски избивают близких, занимаются самооскоплением и иными способами постигают запредельность, что и означает смерть.⁹ Согласно Дугину, Федор – «метафизический убийца», и опыт его радикален: «Федор свидетельствует о том, что не может в нем уместиться, что давит всех нас изнутри».¹⁰ Это неодолимое давление Абсолюта и превращает все вокруг в пыль и прах; несмотря на весь гротеск повествования, в нем уловлен русский этос, если можно так сказать. К этому следует добавить два коротких замечания. Во-первых, запредельность имеет свой пространственный эквивалент или чисто физический символ, хотя бы ею и обозначалось состояние сознания: это не что иное, как сама «необъятность» нашей земли»¹¹. Во-вторых, вертикаль – не только Абсолют, но и исторически сложившееся «государственное русское тело», если воспользоваться формулой историка XIX века Николая Костомарова.¹² Противопоставляя южнорусский народ, иначе говоря – украинцев, великорусскому, он отмечает не только роль православия, освящающего свыше монархическую власть, но и то обстоятельство, что царь на Руси, являясь государем, был по сути владельческим собственником всего государства, а значит, им распоряжался безраздельно. Таковы в общих чертах топологические ориентиры русского пространства, которое, одновременно устремляясь вширь и ввысь, остается пустым, пугающим и вызывающе непригодным для жизни.

Мне вспоминается визит Майкла Хардта и Антонио Негри в Москву, состоявшийся в марте 2006 года. Его инициатором выступил Владислав Иноземцев, выпустивший в том же году перевод книги «Множество» под эгидой возглавляемого им Центра исследований постиндустриального общества. В рамках

⁸ Дугин А. Темна вода (о Юрии Мамлееве) // Библиотека svitk.ru. [Б.д.]. URL: http://svitk.ru/004_book_book/8b/1943_dugin-tamplieri.php (дата обращения: 11.12.2022).

⁹ На теме смерти в русской культуре стоило бы остановиться отдельно, но здесь мы не будем в это вдаваться.

¹⁰ Дугин А. Указ. соч.

¹¹ Мамлеев Ю. Россия Вечная. С. 124.

¹² Костомаров Н. Две русские народности // Изборник. 2002 [Основа. СПб., 1861. № 3. С. 33–80]. URL: <http://litopys.org.ua/kostomar/kos38.htm> (дата обращения: 11.12.2022).

этой поездки была запланирована и встреча в секторе аналитической антропологии Института философии РАН, которым руководил Валерий Подорога, влиятельный российский философ. По предварительной договоренности каждый из соавторов двух нашумевших бестселлеров («Империя» и «Множество») должен был выступить с короткой вступительной речью на пятнадцать минут (время выступления удваивалось из-за последовательного перевода). Так оно и вышло. За выступлениями последовала длинная дискуссия. Я живо помню один ее момент, в котором вскрылась разница подходов, а главное, который проливает свет на интересующую нас здесь проблему. Когда зашла речь об империи, Подорога, занимавшийся тогда изучением классической русской литературы XIX века, представил империю как пустое пространство, сославшись, в частности, на хрестоматийный пример северной столицы, построенной ценой огромных жертв. Бескрайняя русская империя только множит пустые пространства, красноречиво доказывал он. Негри внимательно слушал, но взгляд его становился все более и более недоверчивым. «Невозможно! – наконец воскликнул он нетерпеливо. – Невозможно, чтобы империя была пустой! Да ведь она кишит, кишит жизнью наполняющих ее разнообразных масс!» Надо признать, что этот спор не был эмпирическим. Как я уже намекала, за ним кроется различие в подходах – метафизическом у Подороги (со всеми оговорками) и радикально имманентистском у Негри. Если Подорога мыслил тогда скорее в категориях пространства, то Негри выступил явным сторонником социальной динамики или чистой изменчивости. Для него, как мы знаем, Империя (с большой буквы) – не пережиток колониальных времен, а новое состояние глобального мира: «Империализм ушел в прошлое», – вместе с Хардтом убежденно заявлял он на переломе эпох.¹³

Сегодня мы, по-видимому, должны пересмотреть и эту версию империи, где биополитика, ставшая производством самой общественной жизни, имеет откровенно наднациональный характер, проявляя пренебрежение к традиционной форме суверенных, то есть замкнутых в своих границах, государств. Скажу лишь бегло, что с позиций Негри, не согласившегося в тот памятный день с Подорогой, Империя рождает и силы сопротивления, «готовые служить прообразом альтернативного глобального сообщества»¹⁴; силы эти, как и сама Империя, не вмещаются в пределы региональных, а тем более национальных границ. Но вернемся к Подороге, взгляд которого на русскую культуру приобретает снова неожиданную актуальность. Подорога любил ссылаться на Ключевского, для которого история России была историей колонизации. Здесь напрашивается параллель с еще одним историком конца XIX–начала XX века, а именно с Фредериком Джексоном Тернером, выдвинувшим похожую концепцию, но уже американского фронта. Не имея возможности подробно рас-

¹³ Хардт М., Негри А. Империя / пер. с англ. под общ. ред. Г.В. Каменской, М.С. Фетисова. М.: Праксис, 2004. С. 13. «Наша основная гипотеза состоит в том, что суверенитет принял новую форму, образованную рядом национальных и наднациональных органов, объединенных единой логикой управления. Эта новая глобальная форма суверенитета и является тем, что мы называем Империей» (Там же. С. 11-12).

¹⁴ Там же. С. 15.

смаатривать взгляды этих ученых, обратим внимание на то, в чем они, пожалуй, совпадают: становление государственности идет рука об руку с территориальной экспансией, формируя характер и особую идентичность колонистов; в одном случае это «движение русского народа по равнине»¹⁵, в другом – покорение (природной) «дикости» переселенцами в Америке при освоении западных земель.¹⁶ В обоих случаях остановки на этом пути, как бы они ни растягивались в историческом времени, вовсе не противоречат внутренней логике самого движения – наоборот, они ее лишь подтверждают. В самом деле, фронтир – это подвижная, постоянно смещаемая граница между «цивилизацией» и «дикостью», а выделяемые Ключевским периоды в истории России – «привалы» или «стоянки», прерывающие общее равнинное движение. Понятно, что в обеих концепциях не учитываются факторы, которые сегодня могут приводить к их существенному пересмотру: роль классовых, расовых, гендерных и иных различий, а главное, сама насильственная практика колонизации. И все же в сухом остатке мы получаем колонизацию как чистую экспансию или движение по захвату пространства, которое нельзя остановить, – эта объяснительная схема как раз и помогает нам понять особенность сегодняшних событий.

Прежде чем я попытаюсь связать пустое пространство с захватом территорий, необходимо вспомнить еще одно наблюдение, которое мы находим в исследованиях Подороги о литературе. Занимаясь тем, что он называл «малой» литературой, в которой четче всего проявлена игра так называемых психомиметических сил, а проще говоря, несводимая внутренняя логика произведений, создающих у читателей совершенно новый опыт восприятия, Подорога противопоставлял ее имперскому мифу, а заодно и придворно-дворянской литературе, которая непосредственно участвовала в его формировании. Имперский миф – сочетание навязываемых поведенческих практик и устройства самой деспотической власти, задающей определенный литературный канон. Вот как об этом пишет Подорога: «...в таком радикальном разведении литератур есть свой смысл, под сомнение ставится могущество единого национально-имперского литературного мифа. Нет больше одной и только одной “великой русской литературы”, а есть множество литератур, хотя и зависимых друг от друга, но достаточно автономных»¹⁷. Сегодня эти слова очень уместны в контексте разговоров об «отмене русской культуры». Если разобраться, русская культура не только неоднородна, но и изнутри самой себя порождает формы самоанализа и даже самоотрицания. Кстати говоря, литература Мамлеева относится к числу таких. Однако нам сейчас интересно другое. Подорога утверждает, что в имперской классике «временные структуры поглощены пространственным опытом»¹⁸. Хотя это замечание может относиться просто к восприятию, его

¹⁵ Ключевский В.О. Курс русской истории. URL: <http://www.spisl.nsc.ru/history/kluch/kluch02.htm> (дата обращения: 11.12.2022).

¹⁶ Turner F.J. The Significance of the Frontier in American History, 1893. URL: <https://www.usmcu.edu/Portals/218/Turner%20Thesis%2C%20Frederick%20Jackson%20Turner.pdf> (дата обращения: 11.12.2022).

¹⁷ Подорога В.А. Антропограммы. Опыт самокритики. С приложением дискуссии. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2017. С. 29.

¹⁸ Там же. С. 31.

упорядоченности или же, наоборот, смещениям, порождаемым чрезмерностью и необычностью некоторых образных систем, остановимся на самой идее поглощения времени пространством. Это перебрасывает мост к той разновидности колониализма, которой соответствует война, развязанная Россией против Украины в наше время.

Итак, что значит господство пространства над временем? Как это можно понимать? У упоминавшихся выше историков мы находим описание колонизации как процесса «естественного» освоения земель. Это значит, что мир еще не поделен и тем более не переделан (что будет означать вступление капитализма в его последнюю – «высшую» – фазу, по крайней мере на начало прошлого столетия). Напомню, что периоды Ключевского (VIII–XIII века, XIII – середина XV века, середина XV–второе десятилетие XVII века, начало XVII – середина XIX века) обозначаются пространственно, а именно по названию той области равнины, где в тот или иной период сосредоточивалась масса населения (днепровский, верхневолжский, великорусский, всероссийский).¹⁹ Однако время этих «народных передвижений» или движения фронта, которые совпали с активным освоением земель, сопровождавшимся борьбой с «врагом», будь то дикая природа или коренное население, осталось в отдаленном прошлом. Природа в основном покорена, народности ассимилированы, а сами земли распределены между государствами, причем уже в их постколониальном виде. Как же в таких условиях вообще возможен неоимперский захват? Если говорить предельно коротко, то он как раз и сводится к победе пространства над временем. Единственной страной-империей, где это наблюдается воочию, и выступает современная Россия. Замечу, что пренебрежение ко времени таит в себе двоякий смысл. В первую очередь это то самое пренебрежение к человеческой жизни, о чем уже в какой-то мере говорилось. Не будем забывать, что начиная с Августина время мыслится неотделимым от субъективного переживания; это, если угодно, мера самой субъективности (при этом жизнь, конечно, много шире, чем формы, наделенные самосознанием). Пренебрежение ко времени – это также и такой взгляд в прошлое, который оказывается избирательным и искажающим одновременно. Именно подобными чертами и наделена версия исторических событий, проецируемая в прошлое нынешней авторитарной системой. Отдельные моменты времени (крещение Руси, Вторая мировая война) «предопределяют» настоящее и будущее, причем таким образом, как это желает видеть стоящий у власти диктатор.²⁰

Для того чтобы прояснить и заострить сказанное выше, обратимся к примеру из художественной литературы. Согласимся, что часто средствами литературы удастся точнее и экономнее выразить то, что труднее схватывается умозрением. Мне хотелось бы сослаться на рассказ «Семь гонцов» знаменитого итальян-

¹⁹ См.: Ключевский В.О. Указ. соч.

²⁰ Американский историк Тимоти Снайдер называет это «тиранической интерпретацией времени»: «Я, тиран, выбираю отдельные моменты, выбираю их значение и затем говорю вам, что они требуют от вас в настоящем и будущем» (Snyder T. Post-Colonial Ukraine. The Meanings of Resistance // At Home: Lecture. Yale Center for British Art. 13.07.2022. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BCART2T7Ei4&t=12s> (дата обращения: 30.08.2022)).

ского писателя Дино Буццати, который вышел в свет в составе одноименного сборника в 1942 году. В нем повествуется о том, как некий принц пускается в путешествие, чтобы обследовать королевство своего отца – добраться до его крайних пределов. Из числа своих всадников он выбирает семь гонцов, которым предстоит поддерживать постоянную связь с оставленным домом и близкими. Гонцы отсылаются принцем в столицу один за другим, но постепенно выясняется, что времени на обратный путь они затрачивают все больше и больше. По прошествии восьми с половиной лет принц осознает, что очередной посланец, Доменико, вернется в лагерь только через тридцать четыре года, когда сам принц состарится или его вовсе не будет в живых. За годы странствий произошли большие перемены: отец умер, корона перешла к старшему брату, родной город изменил привычный облик. Но главное, что «заветный предел» кажется все менее достижимым: «...чем дальше я продвигаюсь, – размышляет принц-повествователь, – тем больше отдаю себе отчет в том, что границы не существует»²¹. В самом деле, само движение на юг выглядит как движение по кругу, и поэтому иногда возникает мысль, что «компас... географа взбесился» и что до пределов королевства уже никак не добраться. Я не стремлюсь предложить здесь герменевтическое толкование. Хочу только обратить внимание на значимые для нашей темы элементы этого рассказа. Интересно, что эффект замедляющейся скорости гонцов послужил поводом для проведения математического анализа, благодаря чему в нарастающем временном лаге возвращений вскрылась четкая закономерность.²² Отмечу и то, как с увеличением расстояния от столицы утрачивается ощущение всякой связи: сначала это устаревшие известия, приносимые в заплесневелых конвертах, потом – письма, пожелтевшие от времени и полные «нелепых сообщений из мира, давно погребенного в памяти»²³. Если воспользоваться лежащими на поверхности подсказками, то мы сталкиваемся ни больше ни меньше как с описанием саморасширяющегося пространства. Именно расширением пространства можно объяснить как замедление скорости гонцов, так и стирание следов коммуникации – угасание памяти, растущее неузнавание, ожидание смерти как образа финального разрыва. Но главное, у такого пространства нет и не может быть границы – оно само постоянно отодвигает, отталкивает ее от себя.

В притче Буццати упомянуто одно весьма существенное обстоятельство. Пространство, которое стремится исследовать принц, названо в ней королевством. Иными словами, земель, управляемой верховным владыкой, в данном случае – абстрактным королем. В бескрайних землях, которые не перестают расширяться, совсем нетрудно распознать империю; более того, они транслируют ее топологические свойства. И тут я позволю себе вернуться к рассужде-

²¹ Буццати Д. Семь гонцов: рассказы / сост. и пер. с ит. Ф.М. Двин. М.: Известия, 1985.

²² Речь идет о геометрической прогрессии, получившей название «последовательность Буццати» и построенной итальянским математиком и астрофизиком Джермано Д'Абрамо; она описывает длительность путешествий гонцов и устанавливает их относительные скорости: D'Abramo G. The Seven Messengers and the "Buzzati sequence" // arXiv:0904.4798. 30.04.2009. URL: https://www.researchgate.net/publication/45849045_The_Seven_Messengers_and_the_Buzzati_sequence (дата обращения: 11.12.2022).

²³ Буццати Д. Указ. соч.

ниям Костомарова о двух русских народностях (за эти самые взгляды историк не раз подвергался гонениям). Костомаров различает два типа общинной связи соответственно у русских и украинцев, а именно – мир и громаду. «Мирское устройство великорусское есть стеснение...» – утверждает он, имея в виду отношения собственности на землю: землей владеет не тот, кто ее обрабатывает, но община, или мир. Это лишает человека свободы. Добавим к этому православно-самодержавную власть и крепостное право, и мы получаем картину в точном смысле «русского мира». В Южной Руси, напротив, сохранилось «древнее право личной свободы», и громада – это такой тип общественной организации, который, как мы сказали бы сегодня, сохраняет и развивает горизонтальные связи. Подобное добровольное объединение «самобытных собственников» проникнуто сначала вечевым, а потом и западноевропейским, то есть демократическим, духом. Я привожу эти увлекательные соображения, датированные 1861 годом, не только потому, что они звучат на удивление своевременно и остро. В нашем рассмотрении мы как будто все время наталкиваемся на противоречие: экспансия империи, с одной стороны, и ее застылость, неподвижность – с другой. Но тирания (или деспотия) как раз и порождает в своей сердцевине пустоту; «не смей назвать ничего своим, быть батраком какого-то отвлеченного понятия о *мире*, отвечать за другого без собственного желания...»²⁴ – вот оно, прямое действие имперской власти, подавляющее и опустошающее жизнь. Не случайно возникают «шатуны», все эти странники, переступившие закон и бегущие прочь от другого беззакония – уже самой империи, чтобы затеряться и, возможно, сгинуть где-то у самих ее окраин. Но эту тему я не буду сейчас развивать.

Возвращаясь в сегодняшний день, отдадим дань героическим защитникам украинской и вообще любой демократической свободы. Империя потому и движется на запад, что она есть пустое пространство, пространство, в котором нет места для жизни и которое существует единственным способом – за счет безостановочной насильственной экспансии. Жизнь, как известно, требует сотрудничества – на самых разных уровнях и с использованием широкого диапазона средств: от природных форм взаимной помощи до кооперации, практикуемой как внутри человеческих обществ, так и в наднациональном масштабе. Сегодня такое единение – перед лицом небывалых социальных проблем, в том числе вызванных жестокой войной в Украине, а также экологических бедствий, затрагивающих всех без исключения жителей планеты, – востребовано с наибольшей силой. Нам нужно научиться распознавать в человеческой истории эти моменты сотрудничества, которые обычно скрывались за идеологически преобладающей и выгодной властвующим классам историей конфликтов, столкновений и вражды.²⁵ Но прежде всего нам нужно быть едиными в сопротивлении: необходимо сделать все возможное, чтобы противостоять натиску империи, которая готова отнять у всех нас фундаментальное право на жизнь.

²⁴ Костомаров Н. Указ. соч.

²⁵ См.: Grubačić A. David Graeber Left Us a Parting Gift – His Thoughts on Kropotkin’s “Mutual Aid” // Truthout. September 4, 2020. URL: <https://truthout.org/articles/david-graeber-left-us-a-parting-gift-his-thoughts-on-kropotkins-mutual-aid/> (дата обращения: 11.12.2022).

ОКСАНА ТИМОФЕЕВА

Влечение к смерти: от империи к фашизму

Влечение к смерти

1 апреля 2022 года в мировых новостях появились жуткие кадры из Бучи – небольшого города в Киевской области, который в течение месяца был оккупирован российской армией. Тела мирных жителей, в том числе женщин и детей, находили обгорелыми, со связанными руками, со следами пыток, надругательств и изнасилований. Повсюду были трупы: на улицах, в подвалах домов, а также в братских могилах, наскоро вырытых военными, чтобы скрыть следы произошедшей здесь страшной бойни. Российские официальные СМИ сразу же назвали эти снимки фейком и провокацией и заявляли, что украинцы сами инсценировали убийства, чтобы дискредитировать вооруженные силы РФ. 18 апреля 64-я отдельная мотострелковая бригада, орудовавшая в Буче, получила от президента Путина почетный статус гвардейской. Так мы узнали, что в XXI веке не только все еще возможны геноцид, пытки и массовые убийства, но и тех, кто совершает эти преступления, могут чествовать как героев.

С геополитической точки зрения, которую разделяют многие правые, война есть война, и на войне возможно все. Чрезвычайное положение нормализует насилие как средство, оправданное определенными целями – например, интересами отдельных государств или альянсов. С моральной точки зрения, более распространенной в либеральных СМИ, то, что произошло в Буче, есть чистое зло, не поддающееся рациональному объяснению. При этом в глазах того, кто судит, зло всегда исходит от другого, в котором судящий никогда не узнает самого себя. Силлогизм нравственного сознания: «Я не смог бы так поступить; другие – такие же люди, как и я; следовательно, Буча невозможна», – опровергается фактом, что Буча не только возможна, но и действительна. Если российские солдаты – такие же люди, как и я, то как они могут пытать мирных жителей, убивать детей или насиловать женщин, а затем сжигать их? Самое простое решение – дегуманизировать преступников и искать корни их патологической одержимости жестокостью в национальном характере или в пресловутой русской культуре с ее культом насилия. Так появляется следующий силлогизм: «Другие – такие же люди, как и я; эти не такие, как я; следовательно, они не люди».

Помимо геополитического цинизма, оправдывающего военные преступления, и либерального морального сознания, обличающего тех, кто их совершает, можно представить еще одну, не столь очевидную, точку зрения: Буча как реальность обрушивается на нас по ту сторону добра и зла. Это не исключение, не скандал, но одно из имен для чего-то, что время от времени повторяется в истории человечества, независимо от уровня прогресса и развития в тех или иных географических координатах. Чего-то, что в театре военных действий реализуется как один из возможных сценариев.

Театр военных действий – это такой театр, у которого нет автора в собственном смысле слова. Генералы, создающие стратегии и тактики военной игры, не

в счет, так как их ходы ситуативны и определяют лишь схемы наступлений или отступлений, в то время как сцены жестокости и смерти разыгрываются независимо от какого бы то ни было замысла. Если война – это театр, то Буча – это сцена, но совсем не в том смысле, какой подразумевала российская пропаганда, обвиняя украинскую сторону в инсценировках. При взгляде на изображения истерзанных и убитых людей происходит фантазматическая встреча того, кто смотрит, с тем, на что он смотрит. Подобные сцены вызывают ужас и отвращение. Мы хотели бы их развидеть и вытеснить, заменив чем-то более приемлемым.

Психологический механизм отрицания указывает на вытеснение некоторого содержания. В психоанализе такое вытесненное содержание крайне важно для понимания скрытой истины субъекта, тайны его бессознательных желаний и влечений. Что, если Буча – это кривое зеркало, в котором человек никак не может узнать самого себя, отворачиваясь от своей собственной пугающей проекции – бесчеловечного Другого как источника зла? Сцена Бучи, как и другие, похожие или непохожие на нее, сцены геноцида и наиболее жестоких преступлений, перед которыми мы немеем и замираем в ужасе, обнажает избыток того, что Славой Жижек определял как «...нечеловеческую суть человеческого, то измерение, которое немецкие идеалисты называли негативностью, а Фрейд – влечением к смерти»¹.

Влечение к смерти (Todestrieb) – одно из наиболее противоречивых понятий, которое было впервые предложено русским врачом и психоаналитиком Сабиной Шпильрейн (впоследствии убитой нацистами в 1941 году в Ростове-на-Дону). В эссе «Деструкция как причина становления» (1912) Шпильрейн утверждает, что в человеческой сексуальности есть две составляющие, (ре)продуктивная и деструктивная, и формулирует идею влечения к смерти, подчиненного репродуктивному влечению². Фрейд начинает активно использовать это понятие в своей книге «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), но переворачивает его смысл. По мысли Фрейда, Танатос не только является самостоятельным влечением, но и фактически преобладает над Эросом.

Отправной точкой для Фрейда стал тот факт, что пациенты, вернувшиеся с Первой мировой войны и страдающие от травматического невроза, или, как его сейчас называют, «пост-травматического стрессового расстройства» (ПТСР), часто видят повторяющиеся сны, содержание которых отсылает к реальному негативному опыту: «Сновидения при травматическом неврозе обнаруживают такую особенность, что они снова и снова возвращают больного к ситуации произошедшего с ним несчастного случая, от чего он каждый раз просыпается в испуге»³. При этом Фрейд настаивал на «тенденции сна к исполнению желания»⁴. Что за желание исполняется таким окольным путем? Очевидно, такое

¹ Zizek S. *Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism*. Verso, 2012. P. 830.

² Шпильрейн С. Деструкция как причина становления // *Логос*. 1994. № 5. С. 207-238.

³ Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. В кн.: Он же. *Психика: структура и функционирование* / пер. с нем. А.М. Боковиков. М.: Академический проект, 2020. С. 78.

⁴ Там же.

желание отличается от простого поиска удовольствия. Разобрав несколько возможных позитивистских объяснений феномена навязчивого повторения, Фрейд выдвигает спекулятивную гипотезу, в соответствии с которой оно должно быть «более ранним, более элементарным, более связанным с влечениями, чем оставленный им в стороне принцип удовольствия»⁵. Это примитивное влечение консервативно. Его «*можно было бы определить как присущее живому организму стремление к восстановлению прежнего состояния*» (курсив Фрейда)⁶, то есть, к возврату в состояние неорганической материи. Влечение к смерти не доходит до нашего сознания, но в скрытой, измененной форме проникает во все виды желаний. Однако в некоторых случаях оно выходит наружу. Как раз таким случаем и является война.

В письме Фрейда Альберту Эйнштейну, озаглавленном «Почему война?» (1933), на передний план выходит другой аспект влечения к смерти – агрессия. Фрейд пишет, что существует два вида влечений: «нацеленные либо на сохранение и объединение (мы называем их эротическими в точном соответствии с понятием эроса у Платона в «Пире», или сексуальными, сознательно расширяя расхожее понятие сексуальности), либо на разрушение и смерть (мы называем их агрессивным, или деструктивным влечением)»⁷.

Фрейд связывает эротические и деструктивные влечения с такими оппозициями, как любовь и ненависть или притяжение и отталкивание, подчеркивая их взаимосвязь. На самом деле мы не можем отделить одно от другого. У войны всегда есть приверженцы, так как страсть к разрушению действует под личиной патриотизма, религии или других позитивных ценностей:

Если, стало быть, людей призывают к войне, то у них может быть целое множество мотивов, чтобы ответить согласием, благородные и низкие, такие, о которых говорят вслух, и другие, о которых умалчивают. У нас нет никакого повода всех их обнародовать. Среди них, несомненно, удовольствие от агрессии и деструкции: бесчисленные проявления жестокости в истории и в повседневной жизни подтверждают их существование и их силу. Слияние этих деструктивных стремлений с другими, эротическими и идеальными, естественно, облегчает их удовлетворение. Иногда, когда мы слышим о зверствах в истории, у нас возникает впечатление, что идеальные мотивы служили деструктивным влечениям только предлогами, в других случаях, например, когда речь идет о жестокостях святой инквизиции, мы полагаем, что в сознании на передний план были выдвинуты идеальные мотивы, а деструктивные обеспечили им бессознательное подкрепление.⁸

Деструктивное влечение, которое высвобождается на войне, – это не влечение к смерти как таковое, но скорее результат сложного процесса его инверсии: «Влечение к смерти становится деструктивным влечением, когда оно при помощи особых органов обращается вовне, против объектов. Живое существо

⁵ Там же. С. 88-89.

⁶ Там же. С. 102.

⁷ Он же. Почему война? / пер. с нем. А.М. Боковикова. В кн.: Он же. Вопросы общества. Происхождение религии. М.: Фирма СТД, 2007. С. 280-281.

⁸ Там же. С. 282.

сохраняет, так сказать, свою собственную жизнь благодаря тому, что разрушает чужую»⁹. В такой перспективе война может быть понята как коллективный Танатос, направленный против других. Сознательные мотивы являются всего лишь поверхностным элементом сложной машины, движимой бессознательным влечением агрессора к смерти.

Влечение к смерти считается довольно спорным понятием, но есть основания полагать, что дальнейшее погружение в индивидуальную и массовую психологию в контексте все новых войн и других травматических процессов в современном обществе рано или поздно заставит нас признать правоту Фрейда. Однако для того, чтобы понять сцену Бучи в ее исключительности, недостаточно простого жеста применения психоаналитической теории к эмпирическим данным. Такое применение всего лишь дает общее понимание, почему эта сцена внушает нам столько ужаса и отвращения. Да, Буча – это зеркало, но зеркало чего? Иными словами, каков тот субъект влечения к смерти, который в Буче выходит на сцену?

Империя

19 апреля (то есть, вскоре после Бучи) российскому писателю Александру Никонову позвонил актер Иван Охлобыстин, известный своими ультраконсервативными взглядами. Актер был пьян. Очевидно, он обзванивал друзей, чтобы попрощаться и сообщить о своем намерении ехать в Украину воевать за Путина (конечно, никуда он в итоге не поехал). Никонов записал разговор и поделился им в Интернете, снабдив запись комментарием о том, что эти откровения хорошо иллюстрируют умонастроения российских ура-патриотов. Вот несколько выдержек из речи Охлобыстина:

Россия всегда будет выигрывать. Мы выиграем! [...] даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! [...] Мы уьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. [...] Это клево! Но у нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С божьей помощью ... Мы взорвем этот мир! Мы всех уьем!..¹⁰

В возбуждении перед лицом смерти Танатос являет себя в чистом виде. Можно было бы охарактеризовать это как случай психоза, индивидуального и коллективного, когда апокалиптические мечты провластной интеллигенции воплощаются в действительность военными как реальными актерами театра войны в их *passage à l'acte*, в кровавых сценах наподобие тех, о которых свидетельствуют снимки из Бучи. Однако я не хочу ставить диагноз кому бы то ни было, будь то известные актеры или безымянные солдаты. Легко лечить других с позиции

⁹ Там же.

¹⁰ Drunk Ivan Okhlobystin again disgraced: Putin's accomplice wants to go to fight in Ukraine // Global Happenings. 21.04.2022. URL: <https://globalhappenings.com/entertainment/158090.html> (дата обращения: 11.12.2022).

морального превосходства; гораздо сложнее набраться смелости посмотреть в зеркало и соотнести себя с реальностью, которая выглядывает из черного зеркала Бучи, приводя в ужас самых «хороших» русских, и не только их.

Меня интересует влечение к смерти не в любой войне, но в той особой исторической ситуации, когда империализм внезапно превращается в фашизм. Сегодня это происходит с моей страной и моим народом. Что-то похожее уже происходило в других странах, и вероятно через какое-то время снова произойдет где-то еще. Буча – повторяющаяся сцена, что-то вроде травматичного невротического сна, только наяву. Мы пытаемся забыть эту сцену, вытеснить, но она возвращается под разными именами, превращая заклинание «никогда больше» в «можем повторить». Перед нами не изолированный феномен, а фантазматический опыт конкретной психосоциальной структуры. Ее инварианты должны быть проанализированы и поставлены под вопрос, если мы в самом деле хотим избавиться не только от симптомов (кошмаров), но и от того, что за ними стоит и их обуславливает.

Сравнение путинской России с гитлеровской Германией или Италией времен Муссолини многие сегодня считают недопустимым или не вполне корректным, однако следует указать на определенную структурную гомологию этих режимов. В частности, в ряду базовых признаков фашизма в каждом из них обнаруживается ностальгия по великому имперскому прошлому, сопровождающаяся чувством этнического, религиозного, культурного или любого другого превосходства нации, чей политический этос сводится к идее завоевательной войны, захвата территорий и доминирования над другими группами. Между империализмом и фашизмом существует связь, но она не прямая: призыв к восстановлению прежней империи совсем не обязательно несет в себе зародыш фашистской идеологии. Я постараюсь ухватить эту непрямую связь в философских терминах, восходящих к гегелевской диалектике, в которой империя представлена не как политическая единица, а как состояние сознания.

В 6 главе «Феноменологии духа» Гегель представляет историю Западной цивилизации как три последовательных стадии: а) истинный дух, нравственность;¹¹ б) отчужденный от себя дух, образованность;¹² в) дух, обладающий достоверностью себя самого: моральность.¹³ Этика здесь неотделима от политики, поскольку, по Гегелю, вопрос этики – это вопрос не абстрактных добра и зла, но конкретных практик, посредством которых реализует себя мировой дух. Согласно комментарию Жана Ипполита, в этой главе рассматриваются «отдельные духи», то есть историко-политические формации: «греческого полиса, Римской империи и римского права, западной культуры, Французской революции и германского мира».¹⁴

Истинный дух из первого раздела соотносится с греческим полисом. Это еще не государство в собственном смысле, а городская гражданская община. Ее

¹¹ Гегель Г.-В.-Ф. Феноменология духа / пер. с нем. Г. Шпета. М.: Наука, 2000. С. 225.

¹² Там же. С. 248.

¹³ Там же. С. 305.

¹⁴ Huppote J. Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit / transl. by S. Cherniak, J. Neckman. Washington: Northwestern Univ. Press, 1974. P. 37.

жизнь, которую Гегель в целом определяет как счастливую и гармоничную, определяется диалектикой двух законов – человеческого (мужского, рационального, социального) и божественного (женского, бессознательного, семейного). Однако пределом благополучия одного полиса выступает другой полис. Соседствующие города втягиваются в войны, в результате чего оказываются поглощены империей. Это уже новое состояние, которое Гегель называет «правовым», так как оно соотносится с римским правом. Во втором разделе – «Отчужденный от себя дух» – разворачивается диалектика благородного и низкого сознания, в которой феодальная аристократия мечется между богатством и королевской властью, слабость которой маскируется языком лести. Победа просвещения над темнотой и суевериями приводит в конечном счете к политической эмансипации и свержению абсолютизма. Революция мыслится Гегелем как предельная негативность и насилие – и в то же время как необходимый шаг к свободе, который сначала проявляется как чистое разрушение (террор, гильотина, торжество смерти), но благодаря которому впоследствии становится возможным подлинное гражданское равенство. Только после революции, согласно «Феноменологии» Гегеля, возникает истинное государство – не город в греческом смысле, не империя, не монархия, где власть поддерживается языком лести, а государство взаимного признания, моральный универсум прощения и примирения.

Проблема этой системы в том, что она репрезентирует один конкретный нарратив в качестве всеобщей истории, а это сегодня однозначно считается как европоцентризм. Следует, однако, отметить, что в соответствующих главах «Феноменологии» Гегель практически не упоминает греческий полис, Римскую империю или Французскую революцию. Все эти указания на имена собственные возникают уже в авторитетных комментариях. Один из наиболее известных принадлежит Александру Кожеву, который заявил, что после Французской революции мировая история заканчивается установлением гомогенного государства взаимного признания и абсолютного знания. Хотя Кожев предлагал разные версии того, где заканчивается такой мир – в США, России, Европе или Японии, – суть в том, что, по его версии, это состояние уже достигнуто: пусть не везде, но постепенно менее развитые страны будут догонять более развитые.

Сегодня интерпретация «Феноменологии духа» Кожевым, очевидно, не выдерживает проверки опытом: ни американский образ жизни, ни европейская либеральная демократия, ни капиталистическая глобализация, ни что-либо другое не обнаружило реальной способности привести мир к состоянию взаимного признания, которое, прежде всего, означало бы истинное, а не формальное равенство всех граждан. Однако это не отменяет диалектику Гегеля, так как, не называя имен и дат, она оставляет за «Римской империей» или «Французской революцией» роль конкретных исторических примеров той логики, которая может быть повторена, того сценария, который может быть разыгран и на других сценах, исполнен разными актерами и в разных вариациях. В таком случае 6 главу «Феноменологии» можно интерпретировать как более общую диалектику города, империи и государства, которые описываются в качестве последовательных форм сознания.

Я сосредоточусь на одном из трех разделов, фрагменте об империи, ключевом для понимания того кошмара, в котором мы оказались. Этот раздел значительно короче предыдущего, посвященного греческому полису. Полис, по Гегелю, – это мир героев греческих трагедий. Каждый герой – индивидуальность, действующая в соответствии как с человеческим (писаным) законом, так и с божественным (неписаным). Индивидуальность становится конкретной в той мере, в какой за ней стоит что-то субстанциальное, например, семья или род: каждый герой определен своим контекстом. Это называется пафос (внешние по отношению к герою, превосходящие его силы). Так, Антигона осознанно нарушает человеческий закон ради божественного и берет на себя вину за погребение своего брата Полиника. Ее пафос – это сестринство, чистая женская любовь.

Война образует переход между полисом и империей. Юноша уходит на войну, покидая семью и родные Пенаты и разрывая таким образом имманентную связь с частным миром, которым правит женское начало. Так он обретает независимость от своего контекста, позитивное содержание которого заменяется негативной свободой:

Война есть дух и форма, в которой имеется налицо в своей действительности и подтверждении существенный момент нравственной субстанции, абсолютная свобода нравственной самодовлеющей сущности от всякого наличного бытия. Так как война, с одной стороны, дает почувствовать силу негативного единичным системам собственности и личной независимости, равно как и самой отдельной личности, а, с другой стороны, именно эта негативная сущность возвышается в войне как то, чем сохраняется целое...¹⁵

Кое-что очень важное оказывается утраченным с развитием маскулинной культуры войны, сопровождающей объединение враждующих городов в империю. В подразделе, озаглавленном «Правовое состояние»¹⁶, Гегель описывает эту утрату как исчезновение духа, который в этической жизни связывал человека и его локальный контекст в единое целое. Империя сводит многообразие греческих полисов с их правилами и обычаями к абстрактному единству юридического закона, который обладает всеобщностью и предполагает формальное равенство. Субъекты права – не герои, но бесплафосные физические и юридические лица: «Всеобщее, раздробленное на атомы – на абсолютное множество индивидов, – этот умерший дух есть равенство, в котором *все* имеют значение как “*каждые*”, как *лица*»¹⁷.

Личность в римском праве представляется самодостаточной, но рано или поздно читатель Гегеля понимает, что на самом деле ничего самодостаточного в мире нет. Все существует лишь постольку, поскольку вовлечено в отношения и взаимодействия. Лицо в формальном смысле, к которому человек сведен в правовом состоянии, – это абстрактная и пустая единица: «случайное наличное бытие и лишенное сущности движение и действие, которое никакого постоянства не достигает»¹⁸. Единственной его опорой в реальности является

¹⁵ Гегель Г.-В.-Ф. Цит. соч. С. 243-244.

¹⁶ Там же. С. 245.

¹⁷ Там же. С. 244-245.

¹⁸ Там же. С. 246.

собственность. Но то, что я есть, не равно тому, что у меня есть: «...действительное содержание или определенность “моего” – внешнего ли владения или же внутреннего богатства либо бедности духа и характера – не содержится в этой пустой форме и к ней отношения не имеет»¹⁹. Я могу сколько угодно окружать себя вещами, но при этом там и останусь никем, абстрактной личностью.

В этом фрагменте «Феноменологии» содержится глубокий и в то же время очень лаконичный анализ механизма, который лежит в основе всей социальной структуры капиталистической эпохи. Конечно, частная собственность существовала и раньше, но в гегелевской перспективе она становится основополагающей частью римского права, обеспечивающего людей формальным равенством. Ты (не) есть то, что тебе принадлежит: так можно представить формулу отчуждения, описывающую субъекта современности. В следующих параграфах Гегель делится своими интуициями в области массовой психологии и вводит новую крайне любопытную фигуру, тесно связанную с абстрактным лицом – господином мира. Эта фигура – коллективная проекция. Она возникает, когда «...абсолютное множество атомов – личностей – природою этой определенности в то же время собрано в *одну* чуждую им и в равной мере лишенную духа точку...»²⁰ Господин мира – это та же абстрактная личность, но теперь возведенная в абсолют. Он воплощает в себе все прочие лица – и в то же самое время противостоит им, как их отчужденное содержание и сущность.

Как отмечает Ипполит, «период между правлением Августа и Александра Севера (250 г. до н.э.) рассматривается [Гегелем] как эпоха наибольшего расцвета правовой науки. Но также это период самой неограниченной власти, когда все античные гражданские и религиозные институты исчезали на фоне растущего деспотизма»²¹. Гегель показывает, как атомизированные личности буквально раздувают фантазматическую фигуру деспота из своего собственного ничтожества, связанного с правом собственности. Но и эта собирательная фигура, в свою очередь, такая же пустая, как и множество абстрактных лиц, из которых она складывается и которые при этом думают, что деспот является по отношению к ним внешней инстанцией власти. Они не осознают своего с ним глубинного родства. Власть господина мира держится на поклонении и страхе:

Зная себя таким образом как совокупность всех действительных сил, этот господин мира есть чудовищное самосознание, которое чувствует себя действительным богом; но так как он есть лишь формальная самость, которая не в состоянии обуздать эти силы, то его движение и самоуслаждение точно так же есть чудовищный разгул²².

Поскольку господин мира – это гигантская пустая самость, у которой нет никакого позитивного содержания, он может проявлять себя только в качестве «разрушающей власти, которую он осуществляет по отношению к противосто-

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же. С. 246.

²¹ Huppolt J. Op. cit. P. 372.

²² Гегель Г.-В.-Ф. Цит. соч. С. 247.

ящей ему самости его подданных»²³. В этом смысле он воплощает социальное отчуждение как таковое:

...они, следовательно, находятся в некотором лишь негативном отношении и друг к другу и к нему, который составляет их соотношение или непрерывную связь. В качестве этой связи он есть сущность и содержание их формализма, но содержание им чуждое, и сущность – им враждебная, которая, напротив, снимает именно то, что для них имеет значение их сущности, – их бессодержательное для-себя-бытие, – и, будучи непрерывной связью их личности, именно ее и разрушает.²⁴

Как абстрактные личности, мы можем бояться деспота или противопоставлять себя ему, воспринимать его как внешнюю силу, над которой мы не властны и перед произволом которой совершенно безоружны, но мы забываем, что в атмосфере социального отчуждения сами и создаем его из нашей бездушной пустоты, заданной отношениями собственности. Деспотизм – это непристойная изнанка абстрактного индивидуализма в основании имперского сознания, а также – возвращаясь к моей изначальной теме – его влечение к смерти, воплощенное в фигуре властелина мира.

В разделе «Б», «Отчужденный от себя дух», Гегель описывает, как империя постепенно переходит в феодальную монархию, где суверенная власть держится на лесте придворной аристократии до тех пор, пока не станет очевидным, что король – голый. Просвещение ведет к революции, а революция кладет конец абсолютизму и, пройдя критическую стадию террора, дает начало новой форме сознания – моральному сознанию, которое соотносится с состоянием реального (а не только формального) равенства и взаимного признания сознательных и свободных граждан. В «Феноменологии духа» история на этом заканчивается, и кажется, что у нее довольно счастливый конец. Альтернативные сценарии не принимаются во внимание, и это дает возможность комментаторам вроде Кожера (с его отчетливым европоцентричным видением одной единственной версии мировой истории) представить данный момент как окончательную реализацию гегелевского духа.

Фашизм

В более конвенциональном прочтении греческий полис, Римская империя, Французская революция или немецкое государство – это скорее универсальные концептуальные модели. В этой связи я согласна с замечанием Ипполита, что описание правового состояния и господина мира «имеет исторические отсылки (и соотносится с периодом Римской империи), однако имеет и более общее содержание»²⁵. Это не только история Римской Империи, но, по сути, также и наша собственная история. Мы никогда не были римлянами, но у России есть свое имперское наследие, один из элементов которого возникает, казалось бы, буквально на пустом месте: фигура деспота, который считает себя господином

²³ Там же.

²⁴ Там же.

²⁵ Huppolite J. Op. cit. P. 370.

мира и реализует свою негативную и пустую сущность в чисто деструктивных действиях. В 2020 году, когда Путин, удерживавший власть на протяжении 20 лет, изменил российскую конституцию, чтобы обеспечить себе пожизненное президентство, я думала, что в той мере, в какой российская автократия выродается в нечто наподобие неофеодальной монархии, новая революция в России – это лишь вопрос времени. Однако я не учла, что у подобных режимов есть проверенное средство, чтобы продлить себя: вместо революции пришла война. Власть, казавшаяся всего лишь очередной автократией, взяла курс на фашизм.

«За каждым фашизмом стоит неудавшаяся революция». Это знаменитое высказывание часто приписывают Вальтеру Беньямину, но, судя по всему, речь идет не о прямой цитате, а скорее об интерпретации некоторых его текстов. Так, в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Беньямин заявляет: «Фашизм пытается организовать возникающие пролетаризированные массы, не затрагивая имущественных отношений, к устранению которых они стремятся»²⁶. В том же ключе, в статье «Психологическая структура фашизма», Жорж Батай называет фашизм «императивным ответом на нарастание угрозы рабочего движения»²⁷. Оба автора заявляют, что фашизм возникает как способ нейтрализации растущего социального антагонизма, объединяя угнетателей и угнетенных вокруг фигуры сильного лидера. Фашизм канализирует революционную энергию внутреннего протеста в военную агрессию против внешнего врага.

Получается, что фашизм, действуя в соответствии с механизмом, открытым Фрейдом, обладает способностью перенаправлять энергию влечения к смерти: вместо того, чтобы дать себе быть уничтоженной революцией, данная форма отношений власти и собственности, называющая себя нацией или народом, пытается сохранить себя – и находит внешний объект для собственных (само-)разрушительных импульсов. Империя прошлого, к реставрации которой призывает национальный лидер, соотносится с «прежним состоянием», куда побуждает нас вернуться влечение к смерти. Это хтоническое божество Матсыра-Земля, одновременно утроба и могила, в темноте которой можно будет наконец упокоиться с миром. Восклицания Охлобыстина о том, что «нам не нужен мир без нашей победы», – не что иное, как агония империи в ее отчаянном, но все еще бессознательном желании умереть в пламени революции. Гегель пишет о необходимости Революции, но – в отличие от Маркса – не обсуждает идею преобразования отношений собственности, хотя и показывает, что они лежат в основании диалектики абстрактного лица и господина мира. Сохранение отношений собственности ведет к краху революции и к воспроизводству различных моделей империалистической политики. После череды революций мы все еще живем не в универсальном государстве взаимного признания, но в империалистических государствах собственников, озабоченных наращиванием

²⁶ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе / пер. с нем. С.А. Ромашко. М.: Медиум, 1996. С. 62.

²⁷ Батай Ж. Психологическая структура фашизма / пер. с франц. Г. Галкиной // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 101.

«своего». Империя несет в себе заряд деспотизма, и господин мира в любой момент может оказаться фюрером.

По мысли Батая, фашизм есть предельная концентрация власти, а значит, описание механизма суверенной власти «должно лежать в основе всякого систематического описания фашизма»²⁸. Фигура суверена, посредством которой «*должностное бытие однородного*» существования задается в существованиях «*иностраных*»²⁹, является элементом сложной социо-психологической структуры. Однородная, или гомогенная часть общества представлена, главным образом, классом собственников – буржуазией, тогда как инородными (гетерогенными) Батай называет суверена с одной стороны, и «низшие классы» с другой. Суверен стоит одновременно и вне социальной структуры, и над ней, но также и в ее центре, в то время как бесправная беднота располагается на периферии, откуда угрожает буржуазному порядку однородной части общества волнениями и бунтами. Фашизм начинается с мобилизации, при которой императивная фигура суверена становится центральной точкой аффективного притяжения и нейтрализует опасные движения со стороны периферии, подталкивая ее к однородности: «В отличие от социализма, фашизм предстает как объединение классов – и в этом фундаментальная разница между ними»³⁰.

Батай объясняет фашизм через феномен сакрального, которое предполагает постоянное движение между двумя полюсами: с одной стороны, священное – высшие ценности, чистота, сияние и слава, с другой, проклятое, грязное, запретное и непристойное. Фашизм мобилизует проклятую часть, являющуюся стихией периферийной инородности: «Тесная связь фашизма с отверженными классами коренным образом отличает это формирование от классического монархического общества, для которого характерна более или менее полная утрата контакта между царской властью и низшими классами»³¹. При фашизме потенциально наиболее опасная и прекарная часть общества становится главным источником поддержки суверенной власти. Именно она в первую очередь подлежит мобилизации и становится армией: солдаты «...*в принципе* принадлежат к подлой части населения»³².

Рассмотрим пример российской армии. В мирное время в ней существуют два типа солдат: проходящие срочную службу и служащие по контракту. Только контрактники могут участвовать в реальных боевых действиях, называемых специальными операциями. По контракту часто служат выходцы из беднейших регионов и семей, которые за приличную зарплату готовы рассматривать возможность убивать или быть убитыми. Солдаты-срочники по закону не могут быть отправлены в бой, пока не подпишут контракт (добровольно или принудительно). Молодые люди из обеспеченных семей, родители которых в состоянии подкупить чиновников, как правило, получают освобождение от прохождения военной службы, так что в срочники чаще всего тоже попадают люди из

²⁸ Там же. С. 89.

²⁹ Там же. С. 90.

³⁰ Там же. С. 97.

³¹ Там же.

³² Там же. С. 93.

неблагополучных социальных контекстов. В военное время, когда объявляется мобилизация, солдатами потенциально становятся все (кроме некоторых категорий граждан, составляющих исключения). Но, опять же, сохраняется указанная социальная стратификация. В первую очередь в топку войны бросают жителей периферийных регионов, когда-то колонизированных Российской империей – Бурятии, Якутии, Тывы, Чувашии, Калмыкии, Дагестана и других.

Если состояние империи, описанное Гегелем, основано на диалектике господина мира и абстрактного лица, то фашизм, в который скатывается империя, пытается сохранить себя, разворачивается между двумя полюсами: военачальником и солдатом. С одной стороны, армия ассоциируется с благородством, чистотой и славой верховной власти, с другой – с кровопролитием и резней. Противоположности притягиваются и отталкиваются:

Аффективный характер этого единения проявляется в форме привязанности солдата к военачальнику: подразумевается, что каждый солдат мыслит славу военачальника как свою собственную. Именно благодаря этому процессу омерзительная бойня превращается в свою полную противоположность и предстает как слава, иначе говоря, как чистая мощная аттракция. В основе своей слава полководца является чем-то вроде аффективного полюса, противостоящего низкой природе солдат.³³

Чем более возвышенной представляется фигура вождя, тем отвратительнее резня, наделяющая его каким-то аффективным зарядом. Вождь и его солдаты создают динамическое единство, которое проявляет себя в актах разрушительного насилия. Более глубокое философское объяснение этого механизма у Батая очень похоже на гегелевский анализ того, как господин мира подвергает отрицанию абстрактную личность:

В составе армии человеческие существа отрицаются, отрицаются с какой-то злобой (садизмом), слышимой в тоне каждой команды, отрицаются ритуалом военного парада – униформой и законченной геометрической правильностью ритмичных движений. Полководец как императивная личность является воплощением этого яростного отрицания. Его глубинная природа, природа его славы утверждается в императивном акте в аннуляции подлой черни (составляющей армию) как таковой...³⁴

Пределы роста

В январе 2022 года я ходила по улицам Петербурга и наблюдала за строительством новых жилых районов. Глядя на высотные здания, приходящие на смену ветхой малоэтажной застройке, думала о том, скольким семьям предстоит поселиться в этих человекообразных. Город перенаселен, мир перенаселен. Наш вид растет слишком быстро.

Расти может население, сообщество, организм, экономика или любая другая система. Все эти виды роста организованы по одной и той же логике. Как

³³ Там же. С. 92-93.

³⁴ Там же. С. 93.

утверждал Батай в своей знаменитой работе «Проклятая часть» (1949), рост организмов или других систем происходит оттого, что они получают слишком много энергии. Изначальным источником энергии является солнце, излучающее свет и тепло и обеспечивающее таким образом всю жизнь на Земле. Растения, потребляя солнечную энергию, растут и размножаются. Размножение в этом смысле есть лишь следующий уровень роста: когда растение становится уже достаточно большим, оно цветет и размножается: сначала появляется дерево, потом – лес. Животное питается растениями или другими животными, питающимися растениями, увеличивается в размерах, а достигнув половой зрелости, находит партнера и производит потомство: «Воспроизводство означает в некотором смысле переход от индивидуального роста к росту группы»³⁵.

Однако существуют пределы роста. Пределом моего роста может быть другой индивид или группа, но единственным реальным пределом, по Батаю, является земная сфера, или биосфера, то есть пространство, доступное для жизни. Поэтому на Земле происходит постоянный круговорот: особь или популяция со временем исчезают, чтобы освободить место другим. Смерть помогает восстановить природное равновесие и обозначает предел роста живого: «...и если взять жизнь во всей ее совокупности, то реально происходит не рост, а поддержание общего объема на определенном уровне»³⁶.

Более того, на планетарном уровне разрушение преобладает над производством. Любой возможный рост можно понимать как компенсацию более общих разрушительных процессов, которые мы не контролируем. Батай противопоставляет два типа экономики: ограниченная (человеческая) экономика направлена на рост, накопление и производство, тогда как общая (планетарная) требует непроизводительных трат. В этом смысле смерть, как и половое размножение, есть изобилие органической природы, которое направляет свою чрезмерную энергию на роскошное разрушение: «...роскошь смерти рассматривается нами таким же образом, что и сексуальность, – сначала как отрицание самих себя, затем, переворачивая все наоборот, как глубинная правда процесса, который представляет собой жизнь»³⁷.

Непроизводительная трата по мерке вселенной занимает у Батая место влечения к смерти. В его теории смерть и сексуальность принадлежат одной и той же стихии. Ими движет не либидинальная (как у Фрейда), а избыточная планетарная (и в конечном счете, солнечная) энергия. Грубо говоря, за каждым эротическим влечением живых особей, пытающихся расти и размножаться, скрывается Танатос роскошной траты, которая выводит нас на уровень вселенной. Далее следует утверждение:

... если система не способна больше развиваться или если избыток не может быть полностью поглощен в процессе роста, нужно обязательно избавиться от него без пользы, растратить его – вольно или невольно, либо со славой, либо, в противном случае, посредством катастрофы.³⁸

³⁵ Он же. Проклятая часть / пер. с франц. С.Н. Зенкина. М.: Ладомир, 2006. С. 120.

³⁶ Там же. С. 125.

³⁷ Там же. С. 126.

³⁸ Там же.

Если бы Батаю задали тот же вопрос, который Эйнштейн задал Фрейдю в 1932 году: «Почему война?», он бы ответил, что современная война в целом есть катастрофическое следствие нежелания делиться, отказа от непроеизводительной траты. Рост ограниченной, и, в частности, капиталистической экономики приводит к накоплению чрезмерного богатства. Излишки следовало бы отдавать безвозмездно – например, перераспределять в пользу беднейших регионов. Утопия всеобщей экономики предполагает устранение неравенства и замену экономики накопления экономикой дара, несоизмеримой с капиталистической жадностью, которая втягивает людей в катастрофу. Война приходит как бессознательное осуществление планетарного влечения к смерти, когда пузырь накопленного разрывается от напряжения подавленных сил. В одно мгновение армия может разрушить город или целую страну, которые строились годами или веками, загубить тысячи и даже миллионы жизней. Можно рационализировать или оправдывать войну, ссылаясь на геополитические интересы тех или иных государств, групп и коалиций, но эти рационализации всегда будут оставаться слишком-человеческими. На планетарном уровне война есть чистая трагедия.

В такой перспективе максимальной дистанции тезис о фашизме как влечении империи к смерти может быть переформулирован. По Фрейдю, мы бы сказали, что бывшая империя отчаянно пытается сохранить себя, трансформируя свое влечение к смерти в военную агрессию. Батай позволяет сделать следующий шаг: на более общем, планетарном уровне империя просто достигает пределов роста и, делая вид, будто хочет сохранить себя и уничтожить другого, бессознательно пытается уничтожить сама себя. В той мере, в какой фантазматическая чудовищная власть, являющаяся проекцией нашего собственного ничтожества, подвергает нас отрицанию и уничтожению – сначала как абстрактных личностей в империи или квази-империи собственников, затем – как солдат в фашистской армии, здесь уже нет ничего, что действительно требовалось бы сохранить.

(This essay was originally written in English for a forthcoming reader associated with the exhibition "steirischer herbst '22: A War in the Distance.")

III.

АНАТОЛИЙ АХУТИН

Нигилистическая война и ответственность мысли

«Многознание уму не научает»

Гераклит

«Ум видит, ум слышит, все прочее слепо и

глухо»

Эпихарм

В Украине война. 24 февраля 2022 года российские войска без объявления войны вторглись в Украину. Но война началась в 2014 году. Все в российской политике лживо, двулично, лукаво, шкодливо. Все, что делается и говорится, тут же отрицается: Крым (не) захватывали «зеленые человечки» неведомого происхождения, план «Новороссия» мимикрировал под гибридную «гражданскую войну», которую свободолюбивые народы «донбасцы» и «луганцы» ведут против «бандеровской» Украины с помощью российского оружия и «ихтамнетов». Вот и теперь: война не объявлена, а города по всей Украине обстреливают крылатыми ракетами, бомбят жилые кварталы, больницы и школы, уничтожают людей, оккупируют территории и бесчинствуют на них. Идет не война, обусловленная законами и международными конвенциями, – нет, некие спецподразделения проводят спецоперацию без правил и сроков... Цель этой «операции» с глумливой двусмысленностью названа «демилитаризацией и денацификацией», а на деле – это террор гражданского населения и нацистская деукраинизация.

Я живу в Киеве. Я сижу в тепле и сытости, читаю фейсбук, участвую в спорах друзей и коллег, пытаюсь прийти в сознание... Находясь в таком безответственном бытовом расположении среди войны, тем более чувствую ответственность. Участвовать в волонтерстве по разным причинам не могу, вот и остается только место ответчика перед войной-обвинителем.

Я – русский. Я прожил всю жизнь у советской власти за пазухой. Для меня отъезд в Украину в сентябре 2014 года, когда и началась эта война, – своего рода метанойя: изменение ума, покаяние. Человек – существо интеллектуальное, именуемое *homo sapiens*. *Sapientia* – понимающая мысль – не предикат некоего *animalis*, а само существо, допредикативный субъект всех предикатов, подлежащее всех сказуемых. Человек не располагает мыслью, а – со всеми своими страстями и потрохами – располагается в ней. Это обстоятельство можно назвать онтологической ответственностью человеческого существа: человек озадачен, потому что озабочен.

Вот я и решил вести своего рода интеллектуальный дневник. Тут, кажется, все неуместно. Война требует действия (участия, защиты, помощи), а мысль хочет сосредоточения в покое. В дневнике не занимаются научным исследованием, я просто думаю, чем могу, чем располагаю, что ношу с собой, не обращаясь к источникам и справочникам, не сообразуясь с «литературой». Думаю над этим самым: как соотносится событие войны и способность – а может быть, даже долг – думать. Постепенно обрисовалась тема: как понять эту войну, не-

приемлемую никаким пониманием, войну, которая ставит под вопрос сам понимающий – а тем самым принимающий – интеллект.

Ниже публикуются отрывки из этого дневника, отредактированные сейчас.

13.03.2022

В нашем районе Киева уже относительно тихо, лишь порою слышно, как работает ПВО. Но монитор погружает в адское зрелище войны, друзья, близкие и дальние знакомые в ФБ рассказывают о гибели, переживаемом ужасе и страданиях, о гибели людей, о потерянных и разрушенных домах, о катастрофическом масштабе человеческого бедствия, с одной стороны, и катастрофе антропологической деградации, с другой. Снова и снова, поверх всей боли, поверх возмущения российской ложью, граничащей с клиническим безумием, поверх разговоров – постоянно в голове: о чем тут говорить?! Нет, никаких сложностей, никаких вопросов. Ясно как при вспышке молнии: здесь есть безусловно преступные злодеи и безусловно невинные жители.

Более того, война, развязанная Россией в Украине, – это агрессия не только против Украины, даже не против НАТО, не против Запада, это агрессия против мира – ядерный шантаж. Это война – по замыслу и делам – преступление против человечества.

У исторической эпохи, открывшейся в мировых революциях и войнах XX века, вообще странная онтология. С одной стороны, почти всезнание и техническое всемогущество, с другой же – всемогущество уничтожения, лагеря массового расчеловечивания, геноциды, голодоморы, наконец, реальная угроза уничтожения вообще всего предприятия под названием «человек». Все это открывает парадоксальное присутствие могучего *ничто*, до сих пор скрывавшегося в «несовершенствах» бытия или маскировавшееся разной чертовщиной. Это открытие ставит перед интеллектом вопрос потруднее бывших. Допущение не иной возможности быть и мыслить, а – какого-то странного бытия: немислимого, недопустимого, непростительного, ненавистного, однако, – вот оно: взрывает, разрушает, уничтожает... – и больше ничего. Больше – ничего.

Не стоит обманываться ближайшими объяснялками, де это война за территории, просто колониальная война или даже косвенная война против НАТО, мифического Запада... В сознательно преступном ведении этой войны сказывается ее подсознательный замысел, дальнобойная стратегия. Это война –

(1) *экзистенциальная*, – война на уничтожение, дело идет о существовании Украины как таковой;

(2) *мировая*, – война «русского мира», границ не имеющего, против мира со всеми его границами, конвенциями, коммуникациями и равновесиями, тотальная война против *другого* – будь то суверенность государства или достоинство человека;

(3) *нигилистическая* – война на уничтожение без пределов, без недопустимых потерь, воюет существо, которому нечего терять.

Все это не только озадачивает мысль (как такое возможно?), но и саму понимающую мысль ставит под вопрос, все благоустройства ее логосов, интеллектов и рассудительных прагматик.

Война есть война, тут воюют воины и страдают люди, тут взрываются жилые дома и рушится дом общего хозяйства (эко-логия, эко-номика). Тут дело идет о жизни и смерти. О первом и последнем. Тут все опоры, перила, правила, эскалаторы, лифты, нормы, институции – все, что везло нас и водило за руку, рушится. Мир показывает нам свою обратную сторону – границу, где ничего еще нет, кроме нас, стоящих под вопросом (одни под вопросом, другие под огнем) в решающем действии. Ничего, кроме нас и врага, в котором мы не находим ничего, кроме уничтожающей силы. Ничто, заранее не допускающее быть никакому «что». И потому само недопустимое.

Оказавшись лицом к лицу с войной на тотальное уничтожение, человек может обернуться лицом и к тому «что» – первому и последнему, – чему грозит уничтожение. Тем самым человек может открыть исходное условие своего собственного существования. Человек – это животное мыслящее, то есть умеющее промышлять, рассуждать, познавать, понимать, строить концепции, теории и мировоззрения, – но все это возможно потому, что мыслящее средоточие человеческого существа коренится в ответственности за существование: *что* ты защищаешь в конечном счете, жертвуя жизнью?

Россия ведет агрессивную войну против Украины. Это война-террор. Отнюдь не военные «объекты стратегического назначения» ее первая цель, а сами украинцы, граждане суверенного государства, население независимой политической нации. Дело идет о существовании Украины. Можно вспомнить знаменитые слова Голды Меир: «Мы хотим жить, они хотят, чтобы нас не существовало. Немного места для компромиссов». Здесь и сейчас, возможно, впервые украинцы отвоевывают не только «временно оккупированные территории», а свое «что», свою историческую и политическую субъектность.

Эта война отнюдь не очередная война в мире, состоящем из войн. Методы этой «операции»: шантаж, террор, преступления против человечности – разрушают незримые и неписанные правила нашего хрупкого мира, и без того взрывоопасного. Эту агрессию мир почувствовал: 141 страна из 192 членов ООН признала Россию агрессором. Имперская геополитика, параноидальная жажда делить мир с другими «пацанами», мне не кажутся достаточными мотивами. Тут сквозит что-то самоцельное, так сказать, бескорыстное. Вот почему угроза ядерного удара кажется вполне вероятной. Это вызов не Западу, а человеческому миру. Знаменитая ухмылка: «Зачем нам мир без России?» подразумевает: «Нам нечего терять. Все или ничто». Вот почему российская агрессия – это нигилистическая агрессия против мира. Это шантаж уничтожением. Агрессивная, ничем не вынужденная война, развязанная Россией, редкостна по сочетанию беспредельной жестокости и полной бессмысленности. То ли против выдуманных «нацистов», то ли против НАТО, то ли просто против «самодовольства Запада», как заявил Лавров.

Александр Скобов, комментирует новую военно-морскую доктрину РФ: «Впервые нацистское руководство РФ на официальном государственном уровне провозгласило своей генеральной целью насильственное изменение сложившейся в современном мире системы лидерства и слом всего существующего с 1945 года международно-правового порядка, основанного на принципе недопустимости ведения агрессивных войн. Это еще один шаг на пути развязы-

вания Третьей мировой войны. Путинская клика идет к Третьей мировой войне последовательно и непреклонно»¹.

Катастрофа, развертывающаяся у нас на глазах, затрагивает всех. Люди каким-то образом допустили преступника, готового переступить через их существование.

Глядя на уничтоженные города, храмы, хозяйства, на расстрелянных прохожих, убитых детей, ум стоит, остолбенев в недоумении: «Как же такое возможно?»

16.03.

Для Украины эта война – отечественная, та самая – священная, народная. Это война черно-белая. Тут все просто. Это не по ту сторону добра и зла, а однозначно зло против добра. Зло во всей бесстыдной откровенности уничтожающего ничто, а добро – нет, не некое абсолютное и возвышенное, а – просто, проще некуда – житейское добро, прожиточный минимум беженца: «тревожный чемоданчик», пожитки, помещающиеся в рюкзачок, беспомощные старики, перепуганные дети и домашние животные. Вот и все добро, обороняющееся от уничтожения. И никакого Добра «самого по себе».

Армия, добровольцы, жители, обыватели, защищающие свое нехитрое бытие, свои дома, свои города, свою страну, и агрессоры, обстреливающие бегущих стариков, женщин, детей, насилующие, мародерствующие, гадающие. Тактика выжженной земли и дальнобойного террора. *(Дополнение.* Вот уже более 4-х (уже более 6-и) месяцев методично разрушают Харьков. Зачем? Сжигают едва заколосившиеся поля. Зачем? Высокоточно бьют по школам, больницам, храмам, театрам, торговым центрам среди дня... Зачем?)

Нет, для меня это война совершенно особая. Она обнажает суть дела почти до голой схемы и переводит разговор о войне на другой язык. Это не язык разного рода «государственных интересов» (reasons of state), завоеваний, геополитики, экономики. Для описания и понимания этой войны необходим, как ни смешно это поначалу покажется, язык мысли, которая обычно называется отвлекающей. Уже не речь, а само дело идет о первом и последнем. Война ведь тоже «отвлекает» от привычной жизни, подводит жизнь к ее пределам, не только смерти, но и смысла. Война все в жизни ставит под вопрос, испытывает на прочность, достоинство. Противоборство простейшего (житейского) добра беспредельному злу происходит не в абстракциях ума, не умеющего справиться со своим возмущением, а на деле, на глазах у всего мира, прямо сейчас. Добро во всей его утлой житейской простоте и зло во всем ничтожестве и всемогуществе уничтожения. Не схематизирующий ум, не морализирующее возмущение абстрагирует и упрощает здесь, а само зло, обнаженное в своем непристойном бесстыдстве.

Интеллект – это попытка понять. В отличие от практических способностей соображать, промышлять, прикидывать и рассчитывать, интеллект сначала сам

¹ <https://www.kasparov.ru/material.php?id=62E6CABD95124> (дата обращения: 11.12.2022)

определяет себя: спрашивает, что же значит *быть* понятным, и заранее отвечает идеей – прообразом – понятного («умного») мира. Понять – значит собрать, благо-устроить, усмотреть, выяснить мир в его возможной понятности. *Illud habet intellectum* значит: *это понятно*. Латинское слово от глагола *lego* (собираю), *intel* (=inter – между): что-то вроде собираю и разбираюсь. Аналогичен семантический строй и у греческого *logos* (*syllego* – *собирать*).

Не только греческое «космос» и латинское «мундус» значат порядок, но и русское «мир» значит «согласие, согласованность». В разборчивый собор – интеллект – мира можно встроить и сражение, противоборство, судебную тяжбу (вспомним *полемос* Гераклита). Так мысль заранее строит себе образ понятного мира.

Но вот война, не встраиваемая в мир-полемос, война против мира в его понятном складе – интеллекте. Война не за место в мире, а на уничтожение мирности – умной благоустроенности – мира.

Война, развязанная Россией в Украине, объявлена миру. Она ведь и началась с ультиматума странам НАТО, где передернуты причины и следствия: не НАТО расширяется на восток, а страны, бывшие сателлитами или колониями СССР, бегут, как можно скорее, под защиту НАТО. Война объявлена не только правовой архитектуре послевоенной Европы, но самой идее международного мира, идее договорной. Этой войной Россия утверждает войну, силу как решающую инстанцию существования в глобальном мире. (*Добавление*. З. Прилепин, в передаче Первого канала «Время покажет» 14.04.2022: «...Всей стране, всему народу, надо понять <...>, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов»). Глобальная война задумана в глобальном мире с ядерным оружием, глобально уничтожающим.

Безусловным преимуществом в ядерном шантаже обладает тот, кто допускает самоуничтожение, и тут «ничто» России в глобальном мире разных «что» становится ее всемогуществом. Нам нечего терять, а им – вам – есть. У вас есть ваши «что», ваши частные – нации, государства, цивилизации – собственности, ваше добро, ваше собственное достоинство, у нас – нет ничего, у нас – ничто, вооруженное оружием массового уничтожения. Страна, живущая продажей сырья и оружия, не умеющая конкурировать на международном рынке, не способная ничего предложить миру, кроме войны.

Впрочем, говорят, России очень даже есть, что терять. Не только дворцы, поместья и яхты. За душой России какие-то самобытные ценности, и даже уже не только России, но целого «русского мира». Это они, мифический «русский мир» (новые арийцы) и мистическая «тайная Россия», бредя своим особым путем, имея в виду сохранить свои ценности от «разлагающего влияния Запада», тем не менее шантажируют мир уничтожением.

Мы начинаем выяснять, что это такое – само бытие, хранимое «русским миром», и ничего не находим. Страна едет в будущее в карете сочиняемого наспех прошлого, патриоты живут славой бывших побед, присвоенной и раздуваемой пропагандой, интеллигенция – памятью о великой культуре и мифами о «непостижимой тайне России», обыватели – о пломбире и колбасе за 2.20. Впереди ни царства божия на земле, ни коммунизма, разве что мировое господство, если не мытьем завоевания, то катаньем уничтожения. Современная Россия – развесистый гибрид аннигилирующих национальных идей и политических идеоло-

гий, выращиваемый в котловане всех неудавшихся строительства. На царском троне президента восседает гибрид монарха и чекиста, крест скрещен с серпом и молотом, коммунист-интернационалист христосуется с почвенным черносо-тенцем, а поп освящает ракету «Сатана» и благословляет детей при вступлении в пионеры. Политэкономия коррупции устраивает горизонталь бюрократии при «вертикали власти», то ли феодальный капитализм, то ли мафиозный па-ханат, то ли олигархат ресурсодобывающих монополий, то ли плановое хозяй-ство ВПК...

Такая Россия может самоутверждаться (или, как там говорят, «заставить счита-ться с собой») только масштабом грозящих разрушений. Если мы ничего не можем предложить миру, мы можем ответить самодовольству разных «что» силою ничто, отчаянием ресентимента, где застарелый комплекс неполноцен-ности компенсируется манией всемирного величия.

Россия не умеет существовать в сложном хозяйственном интеллекте мира – экономическом, политическом, дипломатическом. Поэтому ее нормальное со-стояние (status quo) – это состояние войны (status belli). Не мир ставит Россию в положение изгоя, она сама отвоевывает это положение, причем не только вне мира, но и против мира, против его космо-логического и коммуникативного интеллекта. Экзистенциальный враг России – не Украина, а мир как регулятив-ная идея согласия.

Война, развязанная Россией, пока еще не мировая, но против мира, сознаю-щего себя «человеческой семьей». В 1948 году только что учрежденная ООН от лица такой семьи провозгласила «Всеобщую декларацию прав человека». Декларация ООН по живым следам извлекала опыт Второй мировой войны. Эта война была мировой не только по количеству вовлеченных государств, но и по сути. Война союзников, антигитлеровской коалиции против нацизма – это не только политическая война государств. Под вопросом стояло не частное добро народов, культур, а общее добро – последнее и первое, простейшее и все в себе содержащее, что делает человека человеком, без чего человеку «жизнь не в жизнь». Таков был смысл войны «мира» (союзников) против нацизма.

Смысл этот был зафиксирован:

«Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, <...> принимая во внимание, что пренебрежение и презре-ние к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества...»

Вот за что шла цивилизационная война. Война не против государства, страны или нации, война не одной цивилизации против другой, а война «человече-ской семьи» против варварских актов, которые возмущают совесть челове-чества (!). Декларация, принятая Организацией Объединенных Наций, пытается сформулировать некие базовые ценности цивилизованности, равно значимые для всех цивилизаций при всем их различии, принципы, отделяющие цивили-зованность от нигилистического варварства.

Что тут важно?

1. Это декларация от лица «человеческой семьи» (human family).
2. Возмущена «совесть человечества» (the conscience of mankind).
3. Возмущена она поправлением достоинства (dignity) человека как такового, то есть фундамента всех прочих прав человека.

Если эта декларация принята от лица «человеческой семьи», чья совесть возмущена, это значит, найдена некая цивилизационная универсалия, признанная *всеми цивилизациями*, сосуществующими на Земле. Человеческая семья в мировой войне открыла цивилизационный фундамент мирового гражданства (*civitas*): *человеческое достоинство*. На стене земельного суда во Франкфурте-на-Майне высечено первое положение первого параграфа новой послевоенной конституции Германии: *Die Würde des Menschen ist unantastbar – Достоинство человека неприкосновенно*. Такой вывод был сделан из опыта нацистского нашествия, опыта лагерей, опыта массового уничтожения людей, лишаемых, прежде всего, достоинства, а потому превращаемых в материал, используемый или уничтожаемый. Достоинство, о котором идет здесь речь, – это не разного рода достоинства людей, нет; неприкосновенное достоинство человека – это своего рода сакральная аура вокруг человеческого существа как такового, независимо от его добротности, доблести, добродетелей, заслуг или вообще полезности. Независимо от его дальнейшей – гендерной, этнической, национальной, культурной, конфессиональной, гражданской (сословной, классово-й) идентичности.

Достоинство человека – это универсальный этический остов человеческого существа как такового. Все нравы, культурные, конфессиональные различия вторичны. Именно чувство собственного достоинства объединяет народы мира в семью, обладающую совестью, то есть чувствительностью к оскорблению достоинства человека – в другом или в себе.

Нет, не территории, а человеческое достоинство, – вот что стояло под вопросом во Второй мировой войне, если отнестись к слову «мировая» всерьез.

Агрессивная террористическая война, которую Россия ведет против Украины, – тоже уже мировая. Не только из-за угроз ядерными ударами. Ее враг – то, что сейчас ей противостоит и что сломать входит в ее задачу – человеческое достоинство. Достоинство – именно то, что нетерпимо для России в самой незалежной, суверенной Украине – достоинство *собственного* существования. Термин «денацификация» означает именно это: попрание достоинства Украины и украинцев. Поэтому террор, фильтрационные лагеря, изнасилования и мародерство не случайные эксцессы, они входят в анти-этос террористической войны. Не так нужно уничтожить, как унижить, «опустить». Вы должны сломаться и попросить пощады. Так Россия относится к собственному населению, так и к гражданам того Государства, которое возникло в революции, справедливо названной революцией достоинства.

Для России не существует ни ценностей человечества со всей его историей, ни человека как ценности. Это нигилизм окончательный.

Все участники человеческой семьи, чья совесть возмущена варварским попранием человеческого достоинства, должны осознавать войну России против Украины как мировую. На этой войне испытывается совесть-сознание человечества (*the conscience of mankind*). Эта война экзистенциальна не только потому, что дело идет о самом существовании Украины, Россия посягает на нечто более изначальное: достоинство человека.

Достоинство человека всячески попирается в самой России. Не раз замечали: неуважение к человеку – от роддома, сада, семьи, школы до домов престарелых, ночлежек и бомжей, панибратская хамоватость, чиновничья грубость... – характернейшие черты человеческих отношений в России. Цинично-

пренебрежительное отношение власти к гражданам, репрессивное законодательство и незаконно-репрессивная судебная система, блатная стилистика дипломатов, похабные шутки президента, сознательно лживая, скандальная пропаганда – все это методично и ежедневно растлевает людей, лишает их чувства собственного достоинства, подменяя его ненавистью, самодовольством, бесстыдством. Это нигилизм, установленный как общественный анти-этнос. Нигилизм, заявленный теперь и в стилистике международных отношений, включая дипломатию. Скабрёзности и цинизм в стилистике высших лиц России и дипломатов не унижают противника, потому что прежде всего свидетельствуют о том, что перед нами люди, лишённые чувства собственного достоинства.

19.03.

Война, допускающая всеобщее уничтожение, – это своего рода нигилистический – пока еще только мысленный – эксперимент, который ставит в современном мире Россия. В этом эксперименте под вопрос попадают и знакомые онтологические ответы нашей ответственной мысли, те *умы*, которыми люди умели понимать: обнимать основательной мыслью состоятельное бытие. Именно эти основания и потрясает могущество нигилистической войны.

Нет, уничтожающее ничто – это не «меон», не «огрех», не хрупкость, не прочность, смертность и временность существующего. Такое ничто – не порча, не трещина, не недостаток идеального бытия, погруженного в материю. Ничто – видим мы на опыте – это сила, но чтобы быть силой, нужно чем-то питаться. Так вот, сила ничто питается нигилистической энергией уничтожения. Мне подарили точную формулу бытия ничто: *deleo, ergo sum* – *уничтожаю, следовательно существую*. В ответ на это мысль теперь может сказать: *cogito – resisto deletui – ergo sum* (*мыслью – противлюсь уничтожению – следовательно емь*).

Ничто, разумеется, питается бытием, тут я согласен с классической онтологией, но две поправки: первая – ничто беспредельно: оно не «дырка в бытии», наоборот, бытие всего лишь «островок» в беспределе ничто; вторая – ничто питается силой зависти к бытию, это известный ресентимент. И зависть, и ресентимент легко распознаются в террористической агрессии России против Украины. Утраченное имперство, распавшийся СССР, превосходство Запада, маниакальный комплекс преследования («русофобия») и опустевшее символическое величие...

Классический интеллект не может понять могущество могучего ничто. И все же беспредельная война на уничтожение – требует ответа. От нее нельзя отговориться благонамеренными теодицеями или трезвыми политологиями. Эта война не лезет в ворота интеллекта, не встраивается в понятный, то есть, так или иначе, заранее оправданный мир. Здесь не годятся, недопустимы ни платонистская благонамеренность, ни теологическая уверенность, ни Спинозистское хладнокровие, ни вообще наблюдательные вышки теоретиков. Всякое самоуверенное и самодовольное понимание поверх гневного отказа нигилистической войне в понимающем допущении, поверх презрения и ненависти, поверх отчаяния – будет пониманием поверхностным. Мысль, полагающаяся на некие естественные или божественные законы, будто бы работающие сами по себе, отрека-

ется от своей ответственности, ей остается только инфантильно оправдываться, полагаясь на то, что «в конечном счете» добро победит зло, справедливость восторжествует, один цикл сменит другой, на худой конец, сработает какая-нибудь карма и т.д. Война, уверяет самодовольный интеллект, – это стихийное бедствие, несчастный случай, противоречащий порядку вещей. Переждем ее, и Дике-Справедливость вместе с Ананке-Необходимостью вернут все на свои разумные места.

Так может быть, наш позитивный интеллект слишком позитивен? Его идея истины без лжи, добра без зла и прочих «гениев чистой красоты» не лишает ли его собственной силы и умения: понимать? Может быть, в самодовольной усмешке нигилистической войны кроется насмешка над самодовольным благоразумием нашего чистого разума, насмешка над его глупостью?

К ответственности нас возвращает мышление, которое М. Бахтин назвал участным. Оно лишает жителей интеллектуального Мусейона алиби, индугенции мастеров своего дела теряют силу. Участное мышление мыслит не *sub specie aeternitatis*, а здесь и теперь, оно привлечено к ответственности и привлекает к ней каждого персонально. Здесь, сейчас, в этом событии твой интеллект испытывается на состоятельность. Причем сразу и теоретическую, и практическую, ибо практика без понятия слепа, а понятие без практики пусто. Нет, мысль не освобождается от гнева и пристрастия, от страха и отчаяния. Напротив, участная вовлеченность становится органом понимания отвлеченного, но не безучастного.

20.03.

Итак, происходящее ставит под вопрос тот органон понимания, ту логическую конструкцию, которую мы называем умом, интеллектом, чистым разумом или, недолго думая, просто рациональностью (недолго думая, потому что логос греческого космоса, *ratio* томистского интеллекта, правила картезианского *cogito* никак не обобщаются в некую веберовскую рациональность вообще).

Бессмысленно нигилистическая война ставит под вопрос само мыслящее существо человека, само событие понимания. Ответственность мысли оказывается требовательней интеллектуального благоустройства. До сих пор разум так или иначе понимал разразившиеся войны, теперь война объявлена ему самому. Может быть, поэтому наш разум возмущенный обуревают только бушующие эмоции, мы слышим один крик: так нельзя, недопустимо, непростительно, неприемлемо... – непонимаемо!

Агрессор покушается на интеллект мира. Космос-логос, храм-интеллект, машина машин, логика мирового духа, социо-логос, онто-логос, а против – *nihi-lum*, ничто, которого нет (уверял Парменид), из которого уже сотворен прекрасный мир, которое отодвигается за горизонт нашим всемогущим познанием, и все же вот оно, вызывающе циничное, глумливо насмехающееся над нашими пониманиями.

Тем более удивительна была для меня сила сопротивления, которую оказывают российские интеллектуалы, когда встает вопрос об ответственности граждан за войну, развязанную их «городом-государством». Казалось бы, интеллект

и есть то в человеческом существе, что усложняет его существование ответственностью. Но прах «интеллигенции» вместе с ее гражданственностью, общественностью и прочей публицистикой мы давно отряхнули, и каждый услышал призыв своего призвания. Общество разошлось по конфессиям, профессиям и творческим мастерским, а место общественного самосознания оставило пустым. Власть охотно заняла это место, разместила там СМИ (в России это оружие массового поражения сознания) и даже время от времени приглашает интеллектуалов и художников к соучастию.

У каждого свое призвание – ученого, художника, чиновника, бизнесмена... Есть свое призвание и у политика, потому что есть среди прочих и такое особое дело – политика. Война, как известно, – продолжение политики. Она имеет свои условия, договоры и правила. Она, выходит, – специальное дело политиков по призванию, прочие граждане тут ни при чем.

Политик, надо полагать, знаток в том, что касается «полиса», искусства жить сообща, общего дела. Издавна заметили, что в профессии «политика», в заботе о всеобщем как особом призвании скрыт опасный конфликт: дело, которым сообщество призвано заниматься сообща – *res publica*, оказывается частным делом профессионалов, а то и вообще приватизируется корпорацией или лицом, представляющим «ум космоса», «божественное провидение», «волю народа», «суверенную власть». Политическая мысль претендует на полномочия власти, власть же, по статусу владея «общей вещью», делом сообщества, узурпирует полномочия всеобщего ума. Политические мыслители норовят устроиться при дворах, войти в доверие к государям под видом советников. Власть же диктует свои постановления с авторитетом политического интеллекта («не вашего ума дело», – говорит она населению). Со времен Платона понятна, кажется, эта внутренняя связь идеи ума, как понимающего общего блага, и монументальной власти как конституции разумного благоустройства.

Идея разумного благоустройства противостоит, противоборствует другой – нельзя сказать, идее, скорее безыдейной, хаотической, болтливой, иной раз кажется, вовсе бессмысленной стихии политической публицистики – «народному собранию». Собранию людей, специалистов в своих особых ремеслах, делах и призваниях, но равно невежественных в «зевесовом» искусстве (или науке) общего дела, общежития.

Впрочем, конфликт здесь не только между претендентами на власть. Конфликт еще и между мыслью и действием, вопросом (сомнениями, оспариваниями – мышлением) и ответом (решением, законом, приказом, диктатом) – двумя полюсами ответственности. Ведь мысль со своими рассуждениями, сомнениями и диалектиками безответственно бездейтельна, а действие безответственно в своей решимости, исключаяющей сомнения.

В современном государстве, в отличие от греческого «полиса», в мире множества профессиональных призваний и занятий, уже далеко не искусством ремесел, а разного рода индустрий, сама машина управления устроена как своего рода государство в государстве. Где же в нашем мире место «народного собрания», или, скажем более близким нам термином, – место гражданского самосознания? Где современное сообщество могло бы на деле общаться в заботе о своем сообща благоустройении? Иначе говоря, где место политического мышления сограждан полиса? Где бы оно ни было, заполнено оно до предела, а лучше

сказать – беспредельно: политические науки и индустрия social sciences, работа парламентов, теледебаты, индустрия журнальной аналитики, публицистика... Почему же создается впечатление, что место это – место политического мышления как бодрствующего самосознания сообщества – остается пусто или – того хуже – узурпируется пропагандой.

«Чем серьезнее мы становимся, выступая в амплуа ученых, работающих в области социальных наук, – пишет Лео Штраусс в своем «Введении в философию политики», – тем полнее развиваем мы внутри себя состояние безразличия к любой цели, состояние бесцельности и пассивности, именуемое нигилизмом».

Чем дальше «мир идей» уходит в сверхчувственную высь утопий или замыкается в своих профессиональных кабинетах, оставляя политику прагматикам и реалистам, тем безумнее и самовластнее становится политическая реальность. Чем дальше от политики ставят себя мастера науки и культуры, тем более иррациональной и варварской будет политика, а сограждане, между тем, будут соучастниками общих – политических – действий. Чем больше профессионал овладевает специальным разумом своей дисциплины, тем меньше оказывается он способным судить об общем. Хуже того, чем большим знатоком своего дела становится интеллектуал-теоретик, тем более утрачивает он способность ответственного суждения в уникальной исключительности происходящего сей час исторического события.

Здесь приходится судить о единичном без заранее готовых теорий и привычных понятий, приходится судить не как профессионалу, а как участнику, под свою личную ответственность.

Не случайно вспоминается тут кантовская «способность суждения». Та самая способность (сила) судить лицом к лицу, как будто ты первый судишь в первый раз. Она знакома нам в суждениях эстетического вкуса, но вот, требуется и в политических суждениях. На это обратила внимание Ханна Арендт (см. «Ответственность и суждение»). Если суждения вкуса действуют в эстетической – незаинтересованной – рефлексии, то политические суждения суть, напротив, предельно – даже смертельно – заинтересованные и потому ответственные суждения, несущие в себе интенции и теоретической необходимости, и этической императивности.

Кант связывает эту способность судить с умом – не «чистым», не «практическим» разумом, а просто с умом умного человека. Неумение же судить в отсутствие заранее данных правил называет своего рода глупостью. Об этом подробно говорила Ханна Арендт, а задолго до нее – Дитрих Бонхеффер, который имел в виду не ученое сообщество, а людей под тиранической властью. Могучие силы индустрии профессиональных знаний, художественных практик, бюрократического чиновничества каким-то образом приводят к результатам, на удивление схожим с теми, что производит деспотический режим власти. «...Любое мощное усиление внешней власти (будь то политической или религиозной), – говорит Бонхеффер, – поражает значительную часть людей глупостью <...> Личность, подавленная зрелищем всепоглощающей власти, лишается внутренней самостоятельности и (более или менее бессознательно) отрекается от поиска собственной позиции в создающейся ситуации <...> Глупец способен на любое зло и вместе с тем не в силах распознать его как зло» («Соппротивление и покорность»). Это странное, на первый взгляд, сближение интеллекту-

ального профессионализма и политического авторитаризма, которые по-разному, но равно лишают людей способности суждения и разучивают «просвещенному уму» (самостоятельному, широкому, последовательному), позволяет понять многое в реакции интеллектуалов на катастрофическое исключение из правил: разразившуюся – здесь, сейчас и так – нигилистическую войну.

21.03.

Что нам философия? Что нам Кант, Гуссерль, истина, добро, когда Харьков, Мариуполь, Изюм, Волноваха... – война методом выжженной земли?!

Как, если не помыслить, то хотя бы осознать? Выражение «прийти в себя» на русском синонимично выражению «прийти в сознание». Это что значит? Да просто: ты в себе, когда не слит с обстоятельствами, не захвачен ими, а отстранен, находишься (находишь себя) в отношении к ним, в ответе за них и за себя в них. Обычно мы живем, нечасто приходя в сознание. Работы, заботы, страсти, отдыхи – привычное дело. Но вот перед нами разверзается жизнь во всей своей действительной нешуточности: война. Беспредельно жестокая, террористическая, попирающая человеческое достоинство, уничтожающая война. Интеллектуальная ответственность означает: все достоинство твоего дела, твоей жизни измеряются отныне характером и степенью твоего *участия* в этой войне. Здесь испытывается, что чего стоит, в чем его неприкосновенная аксиоматичность, каким золотым запасом обеспечены наши ценности, не остались ли от них только ценники. Но как же совместить отстранение и участие, суждение и гнев?

Бывает, человек не злится на помехи, не спешит отговориться своей непричастностью, а озадачивается. Бывает, что человек останавливается в этой озадаченности и задумывается. Вот тут-то он – человек – и приходит в себя, замечает себя посреди поля боя. Иногда – впервые. Приходит и удивляется: что происходит? Где ж он был до сих пор? Вроде бы кругом привычные занятия, занимающие все время – лекции, симпозиумы, конференции, дедайкины... – а ты вдруг смотришь на все как Толстой на оперу.

Ты спешешь занять привычную для тебя позицию теоретика-наблюдателя, художника-эстетика, но бывают такие события, которые не только требуют участия, но и уличают тебя как уже соучастника. Человек приходит (вынужден прийти) в себя, когда привычный мирный мир вдруг взрывается войной. Твой мир, твоей войной. И первая реакция – это не моя война! «Не трожьте мои чертежи» и скорее вернитесь к миру! Но война не стихийное бедствие и не ведомственное предприятие – это событие политическое, не потому что дело политиков (а я не политик), а потому что дело полисное, гражданское, а я гражданин, всем социальным телом включенный в государственную машину и уже поэтому ответственный, не важно, признаю эту ответственность или нет. Война – событие, которое на деле вовлекает весь «полис» твоего привычного мира вместе с тобой, жителем этого мира, – в войну. Она вбрасывает каждого, кто мирно сжился со своим миром, нет, не обязательно в окопы, а в самого себя, приводит в себя (= в сознание) и ставит человека – со всеми его призваниями, верами, убеждениями, занятиями, привычками – под вопрос. Вопрос не «кто

победит?», а «что под угрозой?», «о чем идет дело?», «чем мы тут занимаемся?» Надо отвечать. Надо отвечать, но интеллект наш занят нашими занятиями, он не учен ответственности за наш мир, поставленный под вопрос войной. Наш профессионально изощенный, по горло эрудированный ум оказывается здесь, в решительно решающем событии сего дня, – просто глуп. Для профессионального интеллекта война – помеха и все. Войну ведут *они*, а не *мы*, против кого-то там, зачем-то, не наше дело. Как и солдатам, которым «родина велела».

Между тем, событие войны дает нам шанс прийти в себя. Война – не несчастный случай, а внезапное обнажение «удела человеческого». Странное, отстраняющее от захватывающей жизни и ее увлекательных дел, бытие под вопросом – таково собственное (!) место человека в странном и страшном событии бытия, которое – вот! – обернулось войной. Обживание этого странного – неуместного – места и называется собственно мышлением, экзистенциальной энергией интеллекта. Ответственность за происходящее и за себя в нем – не одна из человеческих забот, а образ человеческого бытия как бытия под вопросом, бытия свободного.

И вот ведь что удивительно: те самые люди, кто связал свою судьбу с интеллектуальной деятельностью, занимают глухую оборону, когда событие войны (причем войны, в свою очередь, не обычной) требует ответа от них, от профессиональных интеллектуалов. Весь мир, затаив дыхание, ждет твоего ответа, решения, а ты бормочешь: это не я, это воля непросвещенного народа, это происки политиков, это режим, это вон тот, который узурпировал, оккупировал...

Между тем, казалось бы, этическое самосознание вменяемого существа, как лично ответственного, не позволяет ни решить эту единоличную ответственность, как решают уравнения в объективных теориях, ни разрешить ее в каком-нибудь соборном хоре эстетического мифа. И уж подавно не стоит откупаться от призыва ни «культурными ценностями», производством которых ты занят, ни службами в секулярном храме, именуемом Культура. Тем не менее, мы каждый день видим, какими надежными убежищами служат храмы Культуры для беженцев с фронта интеллектуальной ответственности, хотя никто, кроме химеры совести, на этом фронте не стреляет.

И вот первый урок. Интеллект, насколько он занят «объективным познанием» или «производством культуры», насколько специализируется в своих профессиональных ячейках, насколько встраивается в научную индустрию, в машину по производству диссертаций, научных трудов, международных конференций, перформансов, спектаклей, – отказывается исполнять свой основной долг: держать ответ за себя, за человека как виновника и соучастника исторических событий и, как ни странно, за само бытие. Интеллект отчуждает от себя эту работу, передает философствующей публицистике, политической журналистике и пропагандистскому мифотворчеству. Предательство интеллектуалов – не в релятивизации истины (аналитика оснований, начал, принципов как раз входит в суть интеллекта), а в отстранении от экзистенциально-политической ответственности. Отложенная или доверенная ответственность легко узурпируется первым попавшимся демагогом. Он властвует и действует той самой силой, которую профессионалы оставили за дверьми своих кабинетов, чтобы не мешала. Они поэтому несут прямую интеллектуальную ответственность за действия своих политиков.

Так в 1990-е не была проведена десталинизация. Не было суда. Суд – это меньше всего наказание, суд – это то самое суждение: внимательный разбор дела и установление преступности преступного деяния. Далее суд продолжается за пределами суда, в сообществе. Сообщество задает вопрос себе, как, почему это преступление стало возможным. В публичном суде-рассуждении сообщество докапывается до чего-то вроде «корня зла». Люди открывают, понимают, уясняют, что, где, как пошло не так. Такова честная и необходимая работа общественного самосознания. Она проведена не была. И корень зла взошел с новой силой и худшими плодами.

В «Евангелии» (Мф.12:43) о таком положении притча: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого».

Когда я оправдываюсь: «Что я могу сделать?» – стоит подумать о том, *что* вообще подвигает меня на какие-то действия. Если я голоден, многое можно предпринять, чтобы добыть кусок хлеба. Если я влюблен... Если я вдохновлен... Если я просто заинтересован... Так что же? Может быть, стоит обратить внимание не только на препятствия, но и на движущий мотив. Точнее, его отсутствие. Не вдохновляет... Может быть, и здесь стоило бы провести расследование. Куда девался движущий стимул? Возможно, опасность, грозящая мирному миру, чувство попираемого человеческого достоинства, необходимость защищаться и защищать от уничтожения не менее, как само бытие, напомнят, в чем вдохновляющая и потому движущая сила бытия.

Война – мировая – идет за это: останутся ли «двуногие без перьев», похожие на людей, достойными звания человека, или же ноуменальная (как сказал бы Кант) нравственная конституция, именуемая цивилизованностью, утратит силу, и люди вконец опустятся.

КОНСТАНТИН БАНДУРОВСКИЙ

Три снимка

1. Сияние

Незадолго до начала спецоперации (назовем это так, поскольку Война для меня началась в 2014 году), я принимал участие в конференции, посвященной философскому осмыслению феномена зла, – тема, которая у многих вызывала недоумение и неприятие, но оказалась довольно пророческой. Мой доклад был посвящен тому, как Августин пытается совместить кричащий факт наличия зла в мире и идею всеблагото Бога. Для Августина это был не только теоретический вопрос – ведь ему суждено стать свидетелем крушения Великой Римской империи и умереть в осажденном варварами Гиппоне. Его восприятие времени, исторической эпохи, человеческой судьбы, его размышления об этом оказываются очень созвучными современному мироощущению.

На этой конференции я прослушал доклад одного довольно молодого политического философа из Сибири. Его доклад был посвящен разоблачению зла, которое таится в обществе, позиционирующем себя как цивилизованное. Это общество, по мнению докладчика, провозглашает себя в качестве борца со злом, но на самом деле является источником этого самого зла, ведь в антитеррористических операциях, несмотря на заявленную высокоточность дорогостоящего оружия, неизбежно погибают мирные жители, совершенно также, как они погибают и при террористических атаках. Следовательно, антитерроризм равен терроризму. Таков тезис. Большая часть доклада была посвящена обоснованию тезиса при помощи примеров, довольно общеизвестных: сержант Уильям Кэлли в Сонгми, след от авиабомбы в Белграде (кстати, это мемориальное здание я видел своими глазами), вторжение в Ирак после необоснованных обвинений в осуществлении ядерной программы. И заканчивался доклад ударным выводом: если всем, террористам и антитеррористам, можно убивать, то и нам можно!

Обсуждение доклада вышло за рамки регламента. Присутствующие радостно повторяли вывод докладчика, хвалили его за незаурядные аналитические способности, приводили дополнительные примеры.

И никто не задал ни одного критического вопроса. Хотя бы формального – почему вот это, собственно, научный доклад, а не, скажем, идеологическое и пропагандистское камлание? Где постановка проблемы, какие используются методы, в чем новизна выводов? Не плагиат ли это: в сети гуляют тысячи постов, для написания которых квалификация политического философа избыточна, в которых повторяются и набор примеров, и вывод, практически слово в слово? Подобную речь с удовольствием вам может прочесть таксист или водитель бла-бла-кара, и вам не придется раскошелиться на дополнительную плату за ученую степень или звание.

Уж тем более – никакой содержательной критики. Если мы сравниваем два явления, то существенны не только сходства (гибель мирных граждан), но и различия. Например, является ли это действие волевой акцией или вынужденной реакцией, нападением и защитой, применяется ли дорогое и высокоточное

оружие, призванное уменьшить число случайных жертв, или дешевое с неизбирательным эффектом, зачастую как раз нацеленное на максимизацию жертв. Каковы цели действий – ведь для террористической акции как раз важно спорадическое убийство именно мирных граждан, поскольку именно это порождает ужас. Для антитеррористической операции мишенью являются именно солдаты противника; случайная гибель мирных жителей скорее нежелательна, как из соображений гуманизма, так из прагматических соображений – впустую тратится дорогое оружие, а гибель мирного населения приводит к увеличению числа комбатантов, собирающихся отомстить.

Так же никто не обратил внимание на неполную индукцию (из ряда примеров не следует вывод) или на скачок мысли от модальности сущего к модальности морально оправданного, скачок, который запрещает «гильотина Юма». Ведь даже если допустить, что существует факт, что все убивают (на самом деле не все и даже не большинство), то из этого никак не следует моральная оправданность, дозволенность или долженствование убийства.

Это не удивительно, ведь критическая нота помешала бы странному воодушевлению (похожему на то, какое охватило Раскольникову, когда в нем вспыхнула его сверхидея), захватившему в кульминации доклада самого докладчика и слушателей, захваченных идеей, что убивать – можно (собственно, той мыслью, ради которой затевался перформанс с доводами, примерами и выводами).

Когда российские философы, вдохновленные Мединским, стали изобретать «русский культурный генокод», я, по большей части в виде пародии, но не совсем, стал тоже его расшифровывать. Неразличение сущего и должного, пренебрежение указаниями на то, откуда берется информация (из слов других, от органов чувств, в результате размышления), отсутствие тонких модальностей, выражающих степень уверенности или сомнения, отсутствие четких градаций императива – безусловного приказа, настойчивой рекомендации, намека («человека человек послал к анчару властным *взглядом*») – вот некоторые баги на уровне самого языка, приводящие к когнитивным искажениям и массовым репрессиям. Но всякий раз эти элементы не складывались в систему. Не было той привилегированной точки, вокруг которой выстраивался бы механизм. И вот, слушая доклад, я понял, что шел по неправильному пути. Дело не в отдельных элементах и их сцеплении, а в некотором сиянии, прозрении, которое озаряет носителя генокода и освещает своим светом любой факт или аргумент. Любое возражение, которое я мог бы сделать докладчику, попало бы в топку этого сияния.

2. Ретины мужчины и женщины, израильтянина и палестинца

Могут ли пробиться через этот сияющий кокон свидетельства, гигабайты фотографий и видеосъемок, которых слишком много, чтобы отмахнуться от них, как от фейка, как будто Украина внезапно превратилась в огромный сверхголливуд, в котором непрерывно создают муляжи и графику, бесконечно превосходящие реалистичностью сам Голливуд? Может ли этот поток ужаснуть, заставить остановить эту войну и предотвратить грядущие?

Незадолго до Второй мировой войны Вирджиния Вулф получила письмо от мужчины, спрашивающего у нее совета, как предотвратить войну. Вулф вообще крайне пессимистично относится к возможности взаимопонимания между мужчинами и женщинами: слишком различна их природа, культура и место в социуме. Поначалу она вообще не хочет отвечать, откладывает ответ на несколько лет, более трех. Когда все же решает ответить, этот ответ по большей части состоит из рассуждений о невозможности ответа. Порой Вулф желает разорвать написанное. Итак, перед нами не могущее быть написанным, разорванное письмо о невозможности взаимопонимания. Но почему Вулф все же написала невозможное письмо, которое, более того, выросло в трехчастное эссе «Три гиней»?

На столе у Вулф копились фотографии из испанской газеты, «настойчиво» приходящей к ней дважды в неделю. Этих фотографий становится все больше и больше; собственно, дальнейшее накопление теряет смысл.

«Что такое фотография?» – задает вопрос Вулф. Фотография это не мысль, не доводы, обусловленные опытом и образованием, это простые конкретные факты, «голые» факты, «всего-навсего» факты, но их сила именно в их простоте. Проведем мысленный эксперимент, «вы» (то есть мужчины) и «мы» (женщины) смотрим на одну и ту же фотографию, лежащую сейчас перед Вулф, «здесь, на столе». Видим ли мы одно и то же, одинаковые (или схожие) чувства мы испытываем?

Факты воздействуют на глаза (имеется в виду физиологический орган), глаза соединены с мозгом, мозг – со всей нервной системой. Система посылает импульсы «через всю память прошлого и чувства настоящего». Внутри нас происходят некоторые реакции, вызывающие у «вас» и «нас» схожие и одинаково сильные чувства. Ведь на фотографиях – мертвецы и руины домов. Тело настолько обезображено, что непонятно, принадлежит ли оно мужчине, женщине или поросенку. Целая стена, на которой висит птичья клетка (привет петуху из Бородеянки), «но остальная часть дома настолько ни на что не похожа, словно все взлетело на воздух». «Вы, сэр» называете ваши чувства «ужасом и отвращением»; «мы», словно эхо, повторяем за «вами»: «Война является отвратительным варварством, ее нужно остановить».

Вот тот момент, когда «вы» и «мы» обнаруживаем общую почву; вот импульс, заставляющий Вулф взяться за перо. (В качестве спойлера: рецепт Вулф прост – нужно дать женщинам избирательные права, как пассивное, так и активное, право зарабатывать наравне с мужчинами, право на образование, на трибуну в СМИ, право сражаться против явного агрессора и так далее. Поскольку мужчины по природе своей драчливы, а женщины – нет, то в блаженном мире, где 60 процентов людей с высшим образованием – женщины, где женщины занимают посты президенток, канцлерин и председателей Совета Федерации, возглавляют телеканалы и имеют равное право с мужчинами служить в армии, войны если не прекратятся полностью, то не будут столь частыми и отвратительно варварскими. На этом месте я зашел в Фейсбук – периодически захожу, чтобы узнать, не началась ли ядерная война; нет, не началась. Но Фейсбук, по закону акаузальной синхронии, вступил в спор с Вулф по поводу мужской и женской природы: обсуждалось, как мой коллега по Liberal arts, мужчина, старший преподаватель, написал антивоенный пост, а женщина, про-

фессорка, активно поддерживающая бойню, написала на него донос. Коллегу ушли по собственному желанию).

Но мы, читатели, эту фотографию не видим; издатели не потрудились сопроводить эссе иллюстрациями. Описание той самой фотографии, лежащей на столе, далеко от протокольной записи в духе Венского кружка. Фотографии не воздействуют непосредственно на сетчатку, а «предназначены» (кем, кстати?) воздействовать; труп обезображен до такой степени, что нельзя определить не только пол, но и вообще то, принадлежит он человеку или животному; разрушенная стена, собственно, не видима непосредственно.

Сьюзен Зонтаг, которую это описание вдохновило на книгу, посвященную военным фото и видеосъемкам¹, сомневается в такой фактичности и непосредственном воздействии, принуждающим и «вас», и «нас» хором воскликнуть: «Нет войне!» Фотография ребенка, погибшего во время теракта в пиццерии «Сбарро» в Иерусалиме, лишь подогревает споры, основанные на идентичности, на сей раз не гендерной, а национальной: для еврея это фото еврейского ребенка (из чего следуют одни выводы), для палестинца – палестинского, и выводы последуют противоположные.

Война не остановилась; через два года после написания «Трех гиней» дом Вулф в Блумсбери «взлетел на воздух», а сама Вулф, наоборот, утопилась в реке Уз.

3. Изоляция

Факты и фейки, факт-чекнинг и приемы критического мышления – информационная война, оперирующая отдельными, изолированными элементами, – не попадают в ядро, вокруг которого образуется мир, в свою очередь опоясанный надежным защитным слоем, отвергающим реальность. И этот мир дан целиком; угроза для него – другой мир, основанный на ином ценностном ядре. Идет не просто война людей, оружия, СМИ, а война миров.

«Денацификаторы» разрушают театр в Мариуполе, университет в Харькове, школу, построенную бельгийцами, в Лисичанске, музей Марии Примаченко в Иванкове, музей Григория Сковороды в Пан-Ивановке, Свято-Георгиевский скит Свято-Успенского монастыря в Святогорске, кладбище в Белой Церкви... Можно ли все это списать на то, что бомбы летели в военные объекты, но нечаянно попали в заведения культуры и образования? Подобно тому, как «нечаянно» российская ракета, предназначенная для уничтожения украинского военного самолета, попала в Боинг? Если следовать логике «денацификации», то есть уничтожения украинской нации, то театры и университеты должны быть более привилегированными объектами, чем аэродромы или нефтебазы.

Но мало уничтожить объекты украинской культуры. Нужно их превратить в свою противоположность, в лаборатории и рассадники «русского мира». Впе-

¹ Sontag S. Regarding the Pain of Others. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2003. В ранее написанной книге также обсуждается тема военных фото (Сонтаг С. О фотографии / пер. с англ. В Голышева. М.: Ad Marginem, 2013).

чатляющая «история успеха» – тюрьма Министерства госбезопасности Донецкой народной республики известная под названием «Изоляция». На подвалах (воспользуюсь прекрасным выражением из донецкого языка) содержались донетчане, не согласные с доктриной ДНР: бизнесмены, у которых отжимали машины и квартиры, заложники и ученые, например, известный религиовед Игорь Козловский. Кажется, что название «Изоляция» просто констатирует факт: людей «на подвале» изолируют. Но на самом деле история и смысл этого названия совершенно иные. Ранее на этой территории располагался завод изоляционных материалов, прекративший свою деятельность после распада СССР. В 2010 году дочь директора завода, Любовь Михайлова, решила джентрифицировать промзону, устроив там арт-пространство, получившее название «Изоляция». За несколько лет это пространство стало одним из самых ярких событий украинской культуры. Активность Михайловой поражает: было проведено более 20 проектов с участием звезд мирового искусства и молодых украинских художников. Даже после оккупации Донецка арт-центр продолжал работу, и только 9 июня 2014 года его территория была захвачена. По словам захватчиков, территорию планировали использовать для хранения гуманитарных грузов, бесконечным потоком идущих в белых грузовиках из России. Фонд «Изоляция» продолжил свою работу в Киеве, а Михайлова инициировала судебные процессы, закончившиеся ничем.

Почему именно «Изоляцию» превратили в пыточную, ведь в Донецке полно различных подходящих промзон? Но для оккупантов было важно и создать тюрьму, и уничтожить культуру, одним жестом. Работы, выставленные в этом арт-пространстве, воспринимались как квинтэссенция всего чуждого «русскому миру». Существует видео, протоколирующее разрушение одного из объектов – огромного липстика, водруженного на заводскую трубу, работу камерунского художника Паскаля Мартина Тайю, с комментариями, показывающими, насколько бесит «министерство культуры ДНР» этот липстик. Почему, собственно? Обыденные объекты, увеличенные до небывалых размеров, меняющие масштаб городского пространства, превращающие прохожих в Алису в стране чудес, – довольно избитый ход. Увеличенный липстик прямо заимствован у классика этого жанра Класа Ольденбурга, установившего губную помаду на гусеничную платформу в 1969 году. Всем нам уже надоел этот совриск, зачем тратить на него праведный гнев и снаряды? Артиллеристы оказались более тонкими ценителями искусства, чем завсегдатаи галерей. Они «считали» замысел художника. Тайю, приехав в Донецк, слушая историю войны и индустриализации, удивился, почему в Донецке нет ни одного памятника донетчанкам, которые, собственно, и создавали эту индустрию, пока мужчины были на войне и в послевоенные годы, – но не забывали при этом заглядывать в зеркало и красить губы. Липстик на фаллической трубе, уже несколько десятилетий переставшей функционировать, – это победа жизни над войной и над индустрией.

Но вернемся в наше время. Григорий Сковорода писал в 1784 году: «Любезный благодетель Стефан Никитич!.. Ныне скитаюсь в Изюме. Скоро чаю возвратиться в моя присныя степи, аще где Господь благоволит». Изюм – небольшой городок на востоке Украины, с невероятно красивым Преображенским собором XVII века, построенным в стиле «казацкое барокко» (наверное, самый выдающийся образец этого стиля). Неподалеку – гора Кременец, на ко-

торой установлены скифские бабы. Дальше – Святогорск, с пещерным монастырем, вырытым в меловых горах, Свято-Успенская лавра. Там тоже жил Сковорода у своего однокашника, игумена Лаврентия Кордета. Много раз Сковорода бывал в Купянске и окрестных селах, Ковалевке, Гусинке, Пустыни Маначновской у своего друга Федора Ивановича Диского. В Бабаях Сковорода пробил клюкой Холодный источник. Григорий Сковорода много бродил по этим невероятно красивым местам Слобожанщины. Притчи, басни и письма Сковороды подписаны названиями городов и сел, которые сейчас часто звучат в боевых сводках. Три года назад я начал составлять план «Пути Сковороды», идущего через места, в которых он бывал, от Бахмута до Сковородиновки и дальше, до Чернух и Киева. В 2022 году, в год трехсотлетия со дня рождения Сковороды, планировал пройти. Сейчас линия фронта почти в точности повторяет этот путь, как бы стремясь тотально уничтожить не только артефакты культуры, но и ее дух, который хранится путями.

Вместо заключения: увидеть грозные лица богов

Эней вспоминает о чудовищных вещах, которым он был свидетелем в день гибели Трои:

Древний рушится град, искони великодержавный.
Усланы стогна телами мужей бездыханных; и трупов
Полны дома; и пороги святилищ завалены мертвых
Грудами.

Вот своего рода «фотография», отпечатавшаяся на его ретине. Он все это видит «открытыми глазами», и не видит ничего. Ведь Энея сопровождает его покровительница и мать Венера, его похоть, согласно Петрарке, комментирующую этот эпизод в диалоге «Моя тайна», примеряющая с увиденным, делающая слепым. Когда же Венера оставляет его, он внезапно видит иное:

Грозные лики очам предстоят и враждебные Трое
Призраки гневных божеств.

Лишь увидев гневные лица богов, Эней покидает Троию, чтобы основывать новый, римский, мир, которому также суждено пасть, чтобы Августин, созерцающий его падение, увидел иной Град.

АННА ВИНКЕЛЬМАН

Свободное высказывание

Ненависть

Мир исчезает, сжимается до сбивчиво пульсирующей точки. Все движется быстро и не движется вообще. Категории пространства и времени брыкаются, цвета и формы вперемешку, не остается ничего кроме оглушительного лязга и горящей тотальности. Движение наоборот. Карикатура вечности.

Горьким дымом окутало город слово «ненависть». Но это значит, что либо *все* они ошибаются, называя это ненавистью, либо же это чудовищный симптом эпохи, главный вирус и зараза, вакцина от которой производится в лаборатории философии жизни!

Я слушаю их. Они говорят и поют, стремятся объяснить свое чувство словами и образами. И тут то, что могло бы быть первородной пульсацией самой тьмы, сосредоточением молчаливой истерики мироздания исчезает. Лишь только сказано: «Я ненавижу его», «мои сгоревшие акции», «эту чертову войну» – ненависть отступает, становится мутным и вязким пространством, в нем тонут и пеленеют. Тогда свет лишь через очень мутное стекло проникает в этот запыленный кокон. Да, так бывает, когда светом совсем неподходящего понятия пронизывают эту первую основу бытия.

Ненависть – не чувство. Злость, отчаяние, разочарование, опустошение – то, что было бы сказать честнее, но труднее. Но кажется, что именно «ненависть» покрывает больше, что оно сильнее, что оно – про тотальность. Или – экстремум нашей способности *не принимать*. Однако же, если хотят выразить отношение к *реальности*, свою реакцию на нее, то сказать «ненавижу» – лишь ленивое упрощение. Это не отношение к положению дел, а широкий мазок скишей краской болотного цвета.

В старших классах на обложку моей большой синей тетради для стихов я почему-то выписала афоризм Максима Горького: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить». Он был красивый и совсем тогда непонятный. А потом я нашла продолжение: «Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение».

По всей видимости, всеобщий крик «ненависти» связан как раз с этой – характерной для западноевропейской цивилизации – тенденции к экстремумам. К нежеланию и неготовности человека занять свое место *просто посередине*. Не стремиться удостоверить себя в акте ослепительной любви или ослепляющей ненависти. Человек стремится достичь экстремума, испытать и попробовать его; и почти никогда – опустить поводья бинарных оппозиций и быть внутри и вне себя основанием их связи и единства. Отчасти потому, что основание для этого часто ускользает из поля зрения. Точнее сказать – умозрения.

А оно оказывается более пригодным инструментом для того, чтобы иметь дело с этими оппозициями. Умозрение, не так привязанное к миру столов и сту-

льсь, даст нам возможности увидеть *ненависть и любовь* не как эмоции и реакции, а как формообразующие силы природы. И, соответственно, свободу как поле их взаимодействия.

Этот сюжет стал центральным для трактата «О сущности человеческой свободы» Фридриха Шеллинга. «Каждая сущность открывается в своей противоположности, любовь – в ненависти ... ненависть – душа любви» (VII, 347)». Однако само это взаимодействие требует некой среды как условия *встречи* противоположностей. Такая среда должна быть свободна и от любви, и от ненависти. Исследование этого измерения – задача философии. В нем берет свое начало мир, и то, что философ назовет *откровением*, а физик – *большим взрывом*.

Динамические отношения этих двух сил – любви и ненависти – есть видимое проявление любого движения. Но не сковывает ли это нас в тиски бинарных оппозиций? Для Шеллинга – нет. Даже сам озвученный философами конфликт между природой и метафизикой – нелепость, недопонимание считает Шеллинг. Любовь и ненависть мы находим в даже в природе; как силы притяжения и отталкивания, как взаимодействие магнетических полей, наконец, как свет и силу тяжести. Так природа начинает принимать свои очертания. Именно за счет того, что взаимное действие сил обнаруживается во всех измерениях видимого мира, открывается возможность связи и переплетения самих измерений – а это уже выход за пределы бинарности.

В социальной природе (мире) ненависть и любовь тоже манифестируют себя, но сложнее и не так совершенно, как в природе. Если, поэтому, говорить на языке менее абстрактном, то ненависть окажется ближе всего к аффекту (не к эмоции-реакции). Аффект заступает на место разума и становится определяющим основанием поступка. Таким образом, ненависть, хоть в ней самой и нет замысла и действия, начинает как бы паразитировать на разуме, пользуется его деятельным потенциалом и *случается*. Ненависть бывает и тихой. Тогда она становится определяющим основанием не одного поступка, а целой картины мира.

Образы ненависти, те гештальты, которые она принимает, выражены в философии на определенном и неслучайном языке. Ненависть – это закрытость, дисгармония, эгоизм. Тут уместны уже не только физические, но и психологические аналогии. Ненавидящий чувствует себя закрытым, оторванным, отделенным от мира. Весь мир ненавидящего сведен до одной оптики, ненавидящий видит все сквозь мутное стекло одного цвета. Аффект уже заступил на место разума, выхода из этого нет, мир редуцирован и сжат. По всей видимости именно это имел в виду Витгенштейн, когда говорил, что «Мир счастливого иной, чем миа несчастного», что «добрая воля может изменить границу мира», (т. е. сделать его больше. – А.В.)

Счастливый человек – не то же самое, что радостный. Счастливый видит мир разными способами, словно бы *целиком*, насколько это вообще возможно. Он для него большой, многообразный, расширяющийся. Вещи, люди и события в мире не существуют как случайно разбросанные факты, они связаны друг с другом, тянутся друг к другу.

Ненависть деструктивна не только в этическом, но и в политическом измерении. Манифестация ненависти в политическом – это тоталитарный режим. Тоталитаризм – это реальность, которая оформлена одним и притом един-

ственно возможным образом. Пересмотреть способ и ход оформления изнутри самого режима невозможно. *Механизм* режима замкнут на самом себе и настроен только на поддержание, утяжеление, воспроизводство. Внутри механизма невозможно ничего внешнего, что послужило бы причиной изменения.

Любая литературная антиутопия – прекрасный тому пример. Допустим, Замятинское «Мы». Главному герою нужно было в буквальном смысле покинуть государство, чтобы словно контрабандой пронести туда любовь. То единственное, что могло надломить механизм изнутри. Но, как мы видим в финале, настоящий тоталитаризм все же нельзя изменить, «подорвать». Он требует либо тотального снятия, либо оживляющей вспышки любви. Но и то, и другое должно случиться с невероятной, немислимой рассудком силой.

Любовь – это будущее, свет, перспектива и движение. Эти метафизические термины оказываются определяющими для физических. «Настоящему и прошлому время мешает», говорит Шеллинг, а «любви оно дружественно». Тут снова видно, что тоталитаризм – структурно воспроизводит *принцип ненависти*. Это абсолютная закрытость и изоляция, неспособность покинуть свой собственный предел.

Ненависть не эмоция. Бросаясь этим *словом*, мы запутываемся, спотыкаемся, отчаиваемся. С ненавистью в ее тоталитарном проявлении, нельзя бороться никаким из других проявлений ненависти, но можно побеждать ее различными проявлениями любви. Любовь, как и ненависть, – ведь тоже не эмоция, а фундаментальное онтологическое понятие. В мире оно *показывает* себя в самом прямом смысле слова. И посредством человека.

Преодоление ненависти или «режима» как политической манифестации ненависти – это прежде всего преодоление эгоизма (самозамкнутости и тяжести). В себе и в других. Та философская интуиция, которую в онтологических построениях раскрыл Фридрих Шеллинг, есть и в текстах о катастрофе XX века: у Левинаса, у Амери. Для всех, кто написал об этом, характерно говорить о борьбе с ненавистью как о раскрытии, допущении и впускании Другого. Борьба с ненавистью – это поиск мотивации к сближению, иногда тогда, когда физические и природные обстоятельства тому совершенно не способствуют и даже противоречат. Это, в конце концов, иногда и *ничего* не делание. Не закрытие и не раскрытие, а покой.

Любовь спасет мир, по всей видимости, в самом прямом смысле слова. Ведь ненависть – в риторическом смысле – уже вот-вот возведут в закон. Не испытывать ненависть уже неприлично: не-ненавидящий, должно быть, не читал последних новостей! Но если же воцарится ненависть, то только проявления любви и живой, подвижной деятельности смогут запустить процесс сближения (анти-эгоизма) и взаимного тепла. Без этого естественного для природы и мира сужения и расширения, свободной динамики любви и ненависти, притяжения и отталкивания, ненавистная зима никогда не закончится.

Свобода

Допусти, что тебя могут и не любить.
Юноша на траве

В конце февраля 2022 года в небольшой однокомнатной квартире прямо напротив памятника «Рабочий и колхозница» настал настоящий хаос. Ботинки, ложки, книжки – все они смотрели на меня умоляюще и с волнением, тоже просились на борт «Турецких авиалиний», на так сейчас называемый «философский самолет». Из всей библиотеки я выбрала и упаковала пять книг. Большая часть из того, что взять очень хотелось, поехала в самом дигитальном виде из возможных – в голове.

Тяжелее всего было оставить на столе собрание сочинений Канта. С «Критики способности суждения», которую он издал в 1790 году, начинается новая философия свободы. Пока что она содержится в тексте в форме интриги. Кажется, Кант уже понимает, что различие «разума» и «рассудка» как познавательных способностей завело его слишком далеко. Но на новую философию свободы, в которой разрешен конфликт феноменального и ноуменального, всеобщего и особенного, Кант намекает очень изящно и красиво, через теорию эстетики.

Если отталкиваться от принятой Кантом классификации эстетических понятий, то все, что нас окружает, можно разделить на *приятное*, *хорошее* и *прекрасное*. Прекрасное на границе нужно декларировать, хорошее за границей можно купить. Поэтому чемодан я собирала по принципу «приятного»: взяла с собой то, что поддержит в трудные минуты, дни и месяцы. Приятное, согласно Канту, воздействует на чувственность, для всех оно будет разное, это вопрос вкуса, а о вкусах — *и о свободе* — не спорят, хотя и по разным причинам. При этом именно понятие свободы в истории философии оказывается, пожалуй, самым важным и обсуждаемым.

«Философские исследования» как *sapere aude*

«Трактат о сущности человеческой свободы и связанной с ней предметах» Фридриха Шеллинга в суровый военный чемодан я положила самым первым. «Трактат» – довольно ранняя работа. К 34 годам Шеллинг вдумчиво распорядился своими способностями и уже не был начинающим философом. При этом его еще не покинула гибкость и открытость к экзистенциальным преломлениям, хотя к некоторым из них его подтолкнет сама судьба.

В каком-то смысле это его первый взрослый акт свободы: в «Трактате» он уже не так очевидно скован традицией, в которой воспитан, можно даже сказать, что этим текстом обозначается и отступление от своих учителей и наставников. «Трактат» – это сочинение, которое делает все предшествующие работы Шеллинга *ранними*. Благодаря нему у Шеллинга появляется его первое философское прошлое.

Сам текст при этом, обозначив новый и переломный момент в жизни Шеллинга (а потом и в истории философии), смотрится болезненным, неровным, фрагментарным. Где-то Шеллинг принимает в нем роль занудного профессора,

где-то впадает в почти мистические состояния. Кажется, эта боль неразрывно связана со взрослением и развитием. Ее можно проследить как на примере душевных переживаний, так и в философских и натурфилософских конструкциях. Она имеет мало общего с бытовыми проблемами выбора или мелкими дилеммами или рефлексиями *à la так или иначе, а что если?* Речь о самом фундаментальном и взрослом вопрошании – о бытии вообще.

Это очень смелый текст. Смелость в нем взрослая, не такая, какая бывает у самые юных, скорее такая, какая бывает от тихого и немного гордого осознания того, что ты *вот теперь понял что-то важное*. Отчетливо помню, как мы разбирали «Трактат» на семинаре по «Истории философии». Мария Юрьевна Кречетова очень огорчилась, что никто толком не мог понять, в чем же главная *интрига* и, как я теперь думаю, ценность текста. «Как же вы не понимаете, — говорила она, — мир сотворен свободно, потому что мира *могло бы и не быть*».

Быть (миру) или не быть?

Прежде Шеллинга на третьем курсе философы много читают Канта. Особенно «Критику чистого разума». В ней Кант определяет необходимость как то, небытие чего невозможно. Получается ли тогда, что свобода – это то, небытие чего возможно? Такая постановка вопроса поможет понять различие философских подходов Канта и Шеллинга.

Точка отсчета – трудный и тернистый переход от механистического объяснения мира к органическому. Тут меняется ответ на один из самых главных вопросов онтологии, этики, даже политической теории: *как совместить свободу и систему?*

В новоевропейской философии до Канта этот вопрос решался *не сам по себе*. Для Декарта, например, гарантом связи свободы и системы был Бог. Однако если мир и природа понимается как органическое целое, то есть как то, что уже определенным образом содержит в себе свободу и свою собственную логику внутреннего развития, то решение вопроса о том, как можно совместить свободу и систему, требуется пересмотреть.

Для механических систем характерно то, что свобода – это выбор между альтернативами: «Такое же пальто, но с голубыми пуговицами». Для организма же нет альтернатив, так как он есть непрерывный процесс формообразования. В механизме – если «А», то «Б» не в деле, оно выпадает из игры; в организме – если «А», то и «Б», но как иная функция или ступень.

При таком рассмотрении мир и природу мы видим не как пассивный материал или ресурс, а как нечто живое и становящееся. И тогда вопрос о свободе начинается там, где начинается само бытие. А может быть даже раньше. Поэтому в «Трактате» Шеллинг спрашивает: «Быть (миру) или не быть?», а еще – кто *первым* задался этим вопросом?

«Сам на себя пиши жалобу»

Стремление объяснить возможность сосуществования свободы и необходимости, судя по всему, лежит в самой человеческой природе. С одной стороны, мы желаем *свободы*, с другой – от самого мира и его порядка мы требуем необходимости. Человек хочет не просто того, чтобы мир был, а того, чтобы он был очень определенным образом. Но в тот момент, когда возникает желание высказать претензию по отношению к миру, к тому, что он есть «как-то не так», сразу становится не очень-то понятно, «куда писать жалобу». В русской культуре вопрос часто решался радикально – «мира Божьего не принимаю» и все тут.

Однако если институт церкви не является единственным необходимым человеку институтом, иначе говоря, если церковь независима от государства, то во многих (конечно, не во всех, но во многих) случаях становится понятно, кому, куда и как писать жалобу, куда «сдавать билетик».

Так, например, можно было бы объяснить невероятное количество забастовок и митингов, которыми так славна, например, Германия или Франция. Высокий семестровый взнос – на улицу! Дорогая мука – давайте обсудим.

Для философии немецкого идеализма *возможность* мыслить свободу (в том числе свободу высказывания) и систему была наиглавнейшей темой, о каком бы из измерений сложноустроенного мира не шла речь. Так, если мы спрашиваем о соотношении свободы и необходимости с точки зрения философии природы, то речь идет о возможности сохранения постоянства при наличии многообразия (проблема соотношения рода и вида). Если говорим об искусстве, то тут еще больше сюжетов. Например, как сочетаются канон и гений? Для политической теории все совсем ясно – как определенное систематическое государственное устройство может поддерживать и контролировать человека, чтобы при этом он не был такому устройству подконтролен и развивал свои права и свободы?

Несмотря на ясность и наглядность вопросов, ответы на них нельзя дать простым или *механическим* способом. По всей видимости, именно поэтому немецкий идеализм как философская традиция такой *тяжеловесный*. Это не только спор аргументов и альтернатив, это спор огромных и фундаментальных систем. В этих системах прослеживается решимость создателей поставить под вопрос самые фундаментальные понятия. Конечно же, при этом жертвуя при этом часто удобными и простыми объяснительными моделями или с горечью принимая их недостаточность.

Например, в том же «Трактате» Фридриха Шеллинга хорошо видно, что мир как *совокупность механических взаимосвязей*, конечно, никак не может отвечать человеку на его запросы и чаяния. Да, в нем есть отдельные структуры, которые работают механически. Но механизм – это то, что подчинено организму. Более того, структур и проявлений так много, что требуется большое усилие, чтобы их объединить.

На уровне онтологии Шеллинг объясняет это с помощью понятия *откровения*:

Вследствие вечного деяния самооткровения в мире, каким мы его теперь видим, все есть правило, порядок и форма; однако в основе его лежит беспорядочное, и кажется, что оно когда-либо может вновь вырваться наружу; нет уверенности в том, что где-либо порядок и форма суть изначальное; все время представляется,

будто упорядочено лишь нечто хаотичное. Это и есть непостижимая основа реальности вещей, никогда не исчезающий остаток...¹

Однако именно это сознание темного и первичного даже по отношению к диспозиции «любовь–ненависть» есть вызов и задача для человеческого разума.

Но настоящая трудность возникает тогда, когда человек пытается *самостоятельно* упорядочить все по только механическому принципу. Это значит, что есть некоторая внешняя цель и система правил, которой нужно подчинить части целого без учета их способности к самоопределению. У частей в таком случае не спрашивают, хотят ли они чего-то другого. Любое механическое устройство (часы, машина) – прекрасный пример такой конструкции.

Мы говорили об этом раньше – политическая система *тоталитаризма* устроена таким же механистическим образом. Все части ее подчинены внешней системе, а если они хотят от курса и цели системы отклониться, то им конец. Их уничтожат и заменят на те, которые от партийного курса не отклоняются. Мы уже говорили об этом и раньше: если «А», то не «Б».

Для Шеллинга политическая теория никогда не была главным предметом интереса и внимания. Однако если последовательно разбираться в «Трактате», то станет ясно, что любое политическое устройство, в котором человек чувствует себя человеком (свободным существом, то есть таким, которое хоть и зависит от *природных* потребностей, но все же не сковано произвольностями внешних, сотворенных человеком, структур), должно быть устроено по образцу организмы природы и того, как Бог в процессе открытия организовал эту природу, учитывая в ней и темный, хаотический элемент.

Отцентрировать этот хаос, оформить его, пишет Шеллинг, наконец, сделать из него мир очень трудно. Поэтому судьба мира – отдельная большая история, и на протяжении всего текста в самых разных формах рассказывается о потенциальном небытии мира и о том, что Бог тоже очень страдает в процессе своего откровения. Однако именно потенциальное *небытие* мира делает его свободным.

Но нужно сразу прояснить, что значит «не быть» и «небытие». Содержательно оно конечно же неопределимо и непредставимо. Шеллинг пишет об этом еще в одной из самых первых своих работ – «Философские письма о догматизме и критицизме». Мы всегда, как он остроумно отмечает в маленькой сноске, имеем дело лишь с недостаточностью бытия, но не с небытием как таковым. При этом небытие всегда стоит за плечами – как логическая операция (отрицание), и как экзистенциальный импульс к мышлению и творчеству.

Говорить о небытии как об онтологическом концепте тогда вполне возможно. Для *небытия*, как для ключевого определения свободы и высказывания (в том числе в немецком значении «установления» и «суждения»), вполне годится простой и житейски понятный пример – любовь.

¹ Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой свободы / пер. с нем М.И. Левиной и А.В. Михайлова. В кн.: Он же. Собрание сочинений: в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 109.

Любовь

Любовь – да (Die Liebe ist da)

Капитализм и капиталистический пересказанный романтизм XIX века исходят из представления о любви, которое уже принесло нам немало страданий. Романтическая любовь, которую человек ждет и в которую верит, основывается на представлении о том, что *любви не может не быть*. Вертер, например, хоть и не романтический персонаж, по заверению самого Гете, но все же знатный романтический страдалец. Вопрос он ставит по-романтически радикально. Либо любовь – либо небытие.

Критиковать «вертерство» можно на самые разные лады. Но один из самых фундаментальных аргументов такой: чтобы любовь случилась, требуется допустить ее *небытие*. В противном случае она окажется *несвободной* и потеряет свое значение.

Немецкие идеалисты написали про любовь почти так же много, как и романтики. Одна из главных идей – *любить* можно только *личность*. Тут выделить курсивом следует оба слова. Как и в самом раннем примере из Кантовской эстетики (где проводится различие между «приятным», «хорошим» и «прекрасным»), следует различать «нравится» (влюбленность) и «любовь». Для первого есть объективные и обусловленные фактичностью механизмы. Если делать определенные вещи и не делать другие определенные вещи (в манере, разговоре и так далее), то людям можно начать нравиться – или не нравиться. С любовью все сложнее. Тут никакого «мануала» быть не может.

На русском языке для этого есть славное выражение «насильно мил не будешь». Да, конечно, если действовать или *воздействовать* на Другого определенным образом, то можно получить определенный результат (симпатию, чувство, похожее на долг, и прочее). Но свобода в любви как раз в том, что исток ее органический, а не механический. Это значит, что уже находясь в процессе любви, можно направлять ее определенным образом, но запустить ее внешним механизмом не получится. Любовь – это способ связи, который возможен в мире природных законов, но одновременно и *вне* их.

Главным образом это связано с тем, что любовь возможно только для личности. Вопрос только в том, что такое личность? Немецкие идеалисты отвечают так: личность – это непрекращающаяся динамика постоянства и различия. Личность – это те самые две основы мира, темная и светлая, которые конкретным человеком связаны и удерживаются определенным образом. Личность – это то, как со своим *темным* и *светлым* обошелся человек.

О понятии личности много скажет его история. В кантовской философии, например, для разговора о личности очень важна ее способность самостоятельно усматривать *соотношение* всеобщего (закон) и особенного (конкретный человек). Для Гегеля интересно то, как каждый конкретный человек самостоятельно *реализовал* свое по-существу абстрактное право быть. Для Шеллинга самое увлекательное – динамика всеобщего и особенного в личности.

В немецком идеализме для обозначения этой динамики есть специальный термин, о котором я говорила и раньше, – откровение (*Offenbarung*). Не в рус-

ском значении «инсайта», а в смысле последовательного развертывания и становления, когда нечто *открывается*. Поздний Шеллинг, например, говорит о мире как о божественном откровении. Начало этой интуиции уже положено в «Трактате». Мир не есть как факт, он *становится*. Любовь и ненависть – не состояния, а движущие силы.

Поэтому самое интересное и важное в мире не фактичность, и более того, никакой «фактичности» или эмпирической истины – в такой философии – строго говоря нет. Правильнее говорить об отношениях. Если перенести эту онтологию в повседневность, то можно, например, сказать, что никакое медиа ни в какой стране не дает «объективную» картину реальности. Поэтому чтобы иметь наиболее полное представление о текущей ситуации, нужно смотреть не на сами позиции (их, как я уже сказала, вообще по большому счету нельзя оценить в терминах «истина» и «ложь»), а на то, как они между собой соотносятся. И анализировать в таком случае нужно не то, кто что сказал, кто соврал, а кто нет, а как эти разные точки зрения сходятся или не сходятся.

Ясно, например, что если я смотрю новости только на родном языке и только на федеральном канале, то я очень ограничена. Но если я смотрю на двух языках и на двух федеральных каналах разных стран, то... я тоже ограничена. И на трех, и так далее. Однако чем больше перспектив я имею (и сопоставляю!), тем более у меня полное представление о мире. Как раз потому, что он представляет собой не фактичность, а систему отношений. Каждый человек, сколько бы языков он ни знал и как бы много новостей он ни смотрел, оказывается в этом отношении исключительно ограниченным. Тут, по всей видимости, становится и более понятной идея Бога как всезнающей сущности. Бог, по Шеллингу, – это перспектива не знания всех фактичностей, а знания всех возможных отношений.

Увязать в одной голове две противоположные позиции сложно. Во-первых, чтобы увидеть их как разные, нужно к каждой отнестись всерьез, но при этом относительно каждой быть способным помыслить, что они могли бы *не быть*, хотя все же есть. По Шеллингу, одно из определений любви как раз состоит в том, что любовь – это способность к такому типу связи. По этой же причине Бог есть любовь (в абсолютном смысле), т.е. то, что «соединяет противоположности, которые есть сами для себя (например – быть и не быть), а все же не могут быть друг без друга». В этом состоит ее «величайшая тайна». Любовь соединяет не то, что уже соединено или может быть соединено природой, а то, что уже как личность случилось в природе и теперь может быть соединено и метафизически.

Именно благодаря *любви* в мире (как в истории, так и в повседневности) соединяется свобода и необходимость, то, что не может не быть, и то, что может и не быть. Любовь для Шеллинга – особый тип отношения между чем-то и чем-то в мире. Но так как сама любовь стоит *вне* любви и ненависти, в ней есть момент небытия как состояния *до* взаимодействия противоположностей. Вступить в отношения любви означает прежде всего увидеть, что ее могло бы и не быть. Это, таким образом, не фактичность, а именно отношение.

Так как тут опять появляется тема личности и ее раскрытия, оказывается, что любовь – в некотором смысле очень болезненный процесс. Так и Бог, по Шеллингу, хоть и творец мира, но творение его самостоятельно. Потому он никогда не может (и не хочет) его механически подчинить. Тотальное подчинение мира

Богу означало бы раз-удостоверение его первенства и всемогущества, отказ от возможности дальнейшего развития в пользу механического самовоспроизводства. Эту же схему можно легко проследить и в человеческих любовных отношениях. Любовь можно испытывать только к свободному существу, к чему-то большему, чем функция. Но именно это делает ее сложной, а не только радостной.

Страдания усиливаются тем, что быть личностью – иногда особенно мучительно. Личность – это тоже сложная самоорганизованная система. Кроме того, раскрывается она не «в чистом поле». Для Шеллинга, например, пространство раскрытия мира принадлежит Богу. А вот у человека и мира – не так. Он все время наталкивается на разные правила этого раскрытия. И если правила природы не зависят от человека, но отчасти доступны познанию (они могут быть чистым объектом исследования, так как произведены не тем, кто их создал), то правила созданных человеком структур (общество, культура) куда более скользкие, несовершенные, от них никогда нельзя отделиться и сделать их объектом в строгом смысле слова.

Переpletение физических, социальных, политических структур здорово затрудняет способность человека связывать то, что не должно быть связано необходимо; а еще – мешает увидеть то, что оказалось связано случайно. Разобраться в этом лучше всего можно с помощью небытия. От структур нужно немного отступить; тем самым, при этом, совершится и некоторое отступление от самого себя, что есть, на самом деле, единственный и необходимый путь к свободе.

Этот шаг совершается в философии смиренно, внимательно и ответственно. Образование – самый надежный способ по преодолению той самой субъективности, которая мешает свободному высказыванию. В образовании человек выходит за *свои* пределы и становится свободным прежде всего от самого себя. Допускает, что его могло бы и не быть. Но вот чудо – он все же есть. И к этому небольшому и возможно прекрасному моменту своего бытия лучше всего отнестись с любовью.

Только в чистом небытии, там, где нет еще ничего, ни любви, ни ненависти, есть свобода. Там ничего не происходит: ни взрывов, ни новостей. Там нет режима, но нет и светлого выходного дня и теплой встречи. Философ заходит туда осторожно, как в библиотеку. Соблюдает тишину, чтобы потом, уже за письменным столом, любовь и ненависть сошлись в свободное высказывание.

Разговор о войне, тирании и конце истории

Николай Плотников: Александр Львович, когда мы с Вами договаривались по поводу этой беседы о философском постижении современной ситуации, Вы процитировали Августина. И вспомнили его опасения, что мы рискуем оказаться «продавцами слов», стремясь сформулировать *философскую позицию* перед лицом этого нескончаемого потока убийств и преступлений, которые совершает Россия в Украине. Действительно, у многих возникает ощущение, что слова сейчас действительно стали не нужны.

Но если мы бросим взгляд на историю философии, то нам придется признать, что за исключением последних, может быть, относительно мирных 70-ти лет европейская философия всегда развивалась на фоне бесконечных войн и страданий людей во время этих войн. И сами философы – от Сократа до Витгенштейна – принимали непосредственное участие в войнах. А другие были свидетелями и даже жертвами войн. Поэтому первый мой вопрос к Вам такой: что может философия перед лицом этой новой войны? Будет ли она заниматься утешением, замолчит или будет искать какие-то новые понятия для постижения действительности?

Александр Доброхотов: Да, это действительно ключевой вопрос – что сейчас могут делать философы. На самом деле, у них есть прямая профессиональная обязанность – следить за «начальными понятиями», на которых зиждется вся рациональность. Ученые, например, не могут этим заниматься. Обычные люди с их здравым смыслом – тоже. А философы должны; они – хранители фонда изначальных смыслов. Сейчас это важно, потому что происходит порча (*соггитио*) первичных смыслов, базовых понятий: рациональность, свобода, личность, ответственность и так далее.

НСП: Почему только сейчас? А раньше разве этого не было?

АД: Если взглянуть на ритм отдельной эпохи, то в начале увидим формирование смыслов, в середине – столкновение полярных смыслов, а в конце (как в нашем случае) – их размывание и диффузию. Вот тогда, по совету Конфуция, надо браться за «исправление имен». Впрочем, надо помнить, что битва за смыслы шла всегда: ее результаты – это и есть культура. И зачастую война приходит в профессорской мантии и лишь потом рядится в мундир.

НСП: Да, пожалуй, философы были не только свидетелями и жертвами.

АД: Платон нарисовал картину философской «битвы гигантов»¹, в которой одни штурмуют «небеса», а другие их защищают. В том же диалоге он связал в один узел софистику и тиранию, недвусмысленно указывая на политический смысл этой битвы. Трудно не заметить, что битва с тех пор так и продолжается. В Греции философия сформировалась в ходе столкновения софистов с догматиками-натурфилософами. Обе партии, конечно, были не безупречны и по-своему опасны для демократии. Но важно, что в ходе споров вы-

¹ Soph.246a–c

светились два политических идеала: один можно обозначить лозунгом «закон и гражданин», а другой – «вождь и народ». Они не обязательно совпадали с той или иной философской школой; главное – стало ясно, что вождь и тиран без помощи софиста не обойдутся. Цепочка этих коллизий продолжилась. Средневековье закончилось битвой реалистов с номиналистами; Модернитет начался столкновением новой рациональности со старой софистикой... И битва эта в разных декорациях и нарядах все еще продолжается.

НСП: Если я правильно понял, Вы не отождествляете «софистику» с той или иной философской школой.

АД: Да, и даже не с политической доктриной. Речь в данном случае не о выборе между бестелесными идеями и телесными атомами, между правым и левым и т.п. Вирус ноофобии, так сказать, может возникнуть в любом идейном контексте, но преимущественно в те времена, когда переживает кризис главное завоевание «осевой эпохи» – принцип личной ответственности разумного субъекта. Демонтировать этот принцип можно по-разному, но три главных способа таковы: свести разум к доразумному «базису» в природе, истории или психике. Важно при этом, что софистические стратегии размывания смыслов и дискредитации рационализма чрезвычайно востребованы стихией деспотизма со всеми ее составляющими: вождь, партия, масса, харизматичный пророк... Собственно, речь идет о взаимовыгодном союзе лжи и насилия, о «тайне беззакония», если угодно. И вот здесь – прямой вызов философии. Ведь есть ответственность философа за смысл и рационализм – *ex professo*. И если не философ будет отстаивать эту ответственность, то кто? Это, если угодно, философское коммуникативное априори. Кажется, что все это очень абстрактные вещи. Но вот началась война, и мы видим – даже по разговорам в интернете, что все так или иначе философствуют; пытаются – кто-то нарочно, а кто-то нечаянно – построить романтический, морально-милитаристский философско-политический дискурс. Я думаю, что если сейчас философам что-то обсуждать, то как раз такие простые, базовые понятия: свобода, мораль, ответственность, личность. Они теперь становятся очень конкретными, очень жизненными.

НСП: Одно из таких базовых понятий, еще с эпохи досократиков, – это само понятие *войны*. Философы долгое время и очень усиленно искали некий *смысл войны*. При этом современное сознание рассматривает войну как невыносимую архаику и даже, может быть, тотальную аномалию в человеческих отношениях. Вот если говорить о том, что Вы назвали «базовыми понятиями», то можно ли дать какое-то оправдание этим поискам сегодня? Можно ли вообще говорить сегодня о «смысле войны»? Сейчас в Германии активно идут пацифистские дебаты и слышатся требования, что войну нужно прекратить и любым способом добиться перемирия. На это возражают, что далеко не всякий мир является благом. Можно ли сказать, что само понятие войны и ее философского «смысла» стало действительно чем-то принадлежащим прошлому?

АЛД: Это острая тема для русской философии. В одной моей статье² я рассуждал о том, как русские философы отреагировали на войну 1914 года. Спектр позиций довольно показателен. Экстремальные позиции в меньшинстве, а большинство, при всем разногласии, развивают соловьевский «средний» путь, лучше всего сформулированный С. Франком: «Отыскание смысла войны, в чем бы оно ни заключалось, должно быть подчинено общему требованию, чтобы та *правда*, во имя которой ведется война, была действительно общечеловеческой, равно необходимой не только нам, но и нашему противнику»; «Мы должны искать идею войны только в том, что смогут и должны будут признать и сами наши противники, когда у них раскроются глаза и они поймут то заблуждение мысли и воли, в которое они впали»; «Война идет не между Востоком и Западом, а между защитниками права и защитниками силы, между хранителями святынь общечеловеческого духа [...] и его хулителями и разрушителями...»³ Конечно, сразу возникает вопрос, кто назначает «хранителей святынь» и как определить «общечеловеческое». Но это уже не вопрос о смысле, а следующий уровень проблемы. Тут могли бы быть даже такие решения, как у Т. Манна в «Размышлениях аполитичного»: «хранители» – это немцы и русские, им есть, за что воевать; а у остальных – не святыни, а корысть. Оставим это на его совести (которая ему позже не давала покоя). Сейчас актуальны другие его мысли, и мы их наверняка вспомним в нашей беседе. Надо сказать, большинство философов тогда говорили, что есть война за субъективные интересы, а есть война за принципы, которыми нельзя ни при каких условиях поступиться. Поэтому, в общем, прав Гераклит: «война, отец всего и царь всего»⁴. Афоризм, кстати, имеет продолжение: «одних она делает рабами, других свободными».

НСП: Можно и Гете вспомнить.

АЛД: И Гете туда же: «Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muß»⁵. Выходит, что нет свободы без войны. Гете вспоминается не случайно: все мы вышли из коллизий XVIII века. До Просвещения (и Контр-просвещения) вопрос о том, нужна ли война, вообще у человека не возникал. Война была частью жизни, если не повседневности. А вот начиная с серии трактатов «О вечном мире», уже начинает ставиться вопрос: а нельзя ли без войны? В трактате Канта обращается внимание на то, что свободные страны не воюют друг с другом: в этом – главный секрет искоренения войны и путь к будущему вечному миру. Но русские философы, которым эсхатологизм всегда был как-то ближе оптимизма, все же считали, что без войны нельзя. Именно поэтому надо постоянно проводить ревизию и коррекцию ключевых понятий разума. Иначе окажешься не на той стороне силы. В самом деле, нам сейчас опять надо будет переосмысливать понятия «право», «свобода», «личность»... Мы еще не знаем результатов переосмысления, но ведь не надо особой чуткости, чтобы заметить,

² Доброхотов А.Л. Моральные коллизии споров о войне в русской философии Серебряного века. В кн.: Философия и этика. Сборник научных трудов к 70-летию академика А.А. Гусейнова. М.: Альфа-М, 2009.

³ Франк С.Л. О поисках смысла войны. В кн.: Русские философы о войне. М., 2005. С. 411-412.

⁴ В.53.

⁵ «Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой» (И.В. Гете. Фауст. Пер. с нем. Н.А. Холодковского). (– прим. ред.)

как фальшиво звучал наш морально-политический словарь сразу после сегодняшней войны. В этом отношении у меня нет никакого сомнения, что с 24 февраля началась «новая мировая эпоха», которая заставит переписать все, включая глобальное устройство мира. И наше (философов) место тут в том, чтобы сказать, есть ли вещи, за которые нужно воевать, а в конечном счете и убивать, или это ни при каких обстоятельствах невозможно. Чтобы ответить на этот вопрос – один среди многих серьезных вопросов сегодня – нужно, например, прояснить, что такое право. Ведь право – это еще и обязанность защитить свободу. И здесь альтернатив нет: или я защищаю жертву агрессии, или я становлюсь соучастником и союзником агрессора. Третьего в таких ситуациях быть не может. Поэтому либо мы демонтируем понятия «права», «свобода», «личность» – что сейчас с успехом и происходит, либо мы признаем, что есть ситуации, где прямой обязанностью является справедливая война. Мы, конечно, можем от нее уклониться, но тогда мы сразу выпадаем из сообщества разумных и свободных людей. И даже не только людей – любых разумных существ («als vernünftiges Wesen», как говорил Кант) в любых мирах. Даже перед марсианами будет стыдно. Стало быть, в некоторых ситуациях война необходима. Сейчас нередко можно услышать о том, что не бывает *правого*, что всегда кто-то виноват. Ну да, в какой-то мере... Но ведь бывают случаи, когда мы обязаны выяснить, кто прав, чтобы не было демонтажа тех самых базовых понятий. И если мы со всей ответственностью решили, кто прав, то должны признать и то, что, война со стороны жертв агрессии будет справедливой. Казалось бы – тривиальность. Но вот именно за нее сейчас приходится бороться.

НСП: Это важный сюжет для европейской философии – концепция «справедливой войны». Но с ней связан болезненный вопрос. Ведь опыт многих войн эпохи модерна, и конечно, Первой мировой войны, а в еще большей степени – нынешняя война против Украины, показывают нам, что каждая из сторон заявляет, что борется за «правое дело». И агрессор, и жертва апеллируют к *справедливости*. Но не становится ли идея «справедливой войны» лишь «субъективным постулатом»? Но ведь тогда получается, что разрушается всякий объективный смысл понятия справедливости?

АД: Вы коснулись важной темы. Может быть, самой актуальной сейчас для философии. Как-то стали немодными старые добрые категории субъективного, объективного и абсолютного. Если эти слова и произносят, то с пилатовскими интонациями. Но вот хорошая новость – абсолютные истины существуют. По крайней мере две вещи люди знают с абсолютной точностью: есть разница между добром и злом и есть разница между истиной и ложью. (Подчеркну – «разница»: дальше уже начинается работа по нахождению добра и истины). Мы сталкиваемся здесь именно с абсолютностью, потому что для такого знания не нужно ничего кроме акта сознания. Сомневаться можно в тех случаях, когда нужно соотносить понятие и факт. Здесь же сам *вопрос* о разнице является и фактом, и понятием. Мне не нужна никакая информация об истине и добре; я самим вопросом создаю реальность, в которой намерен жить. Это акт самоопределения: я создаю себя как существо, задающее этот вопрос, который, если угодно, является пропуском в мир разумных существ. Но, конечно, дальше начинаются поиски ответа на вопрос. Из мира абсолютного я перехожу в мир субъективного. Если я нахожу ответ, общий с ответами других субъектов (или

хотя бы предлагаю другим свой ответ), то я перехожу в мир объективный. В нем работают такие, например, всем нам известные культурные институты, как судопроизводство или научный спор. Там – две (или больше) стороны, у каждой есть своя позиция, и нужно выяснять, *кто прав*. Если истина вообще есть, возможен процесс ее поиска. Это не происходит автоматически, а выглядит как процесс *тяжбы*. В случае с войной то же самое. У всех (почти) своя правда: одним нужно пространство для развития, другим – торжество идеалов и так далее. Но если признается (и тем самым создается) разница между добром и злом, возможен «суд» и его решение.

НСП: Но кто является правомочным субъектом для вынесения решения? Ведь в более ясном случае с наукой и судом мы имеем дело с проработанными культурой институтами.

АД: В идеальном случае должен быть субъект окончательного решения; а это так или иначе упирается в проблему суверена. Современный мир устроен не так, и – плохо ли, хорошо ли – наш мир не является единым правовым пространством. Релятивисты говорят, что международное право – это, скорее, метафора: есть лишь система договоров, которые принято уважать. Но когда идет война, то получается, что вся эта система договоров все равно отменяется. Возьмем так: во-первых, это право, и за ним стоит воля народов, которая опирается на выстраданные ценности; во-вторых, отсутствие легального субъекта принуждения не отменяет сам принцип права. (Так же, как отсутствие у человечества единого языка не отменяет сам принцип языкового общения). Даже если нет суверена, вооруженного силой, не исчезает необходимость начинать процесс выяснения того, кто прав, а кто виноват. Тут не может быть релятивизма. Проблема на какой-то момент может быть не решена, но невозможно отказаться от тяжбы как таковой. Мы оказываемся перед драматичным парадоксом: отказаться от правового решения мы не можем, но и вынести его не имеем права. (В свое время меня поразил фильм Крамера «Нюрнбергский процесс» (1961), в котором как раз развернут этот парадокс: все, ранее для меня очевидное, оказалось неочевидным). Здесь надо прояснять само понятие права. Во всяком случае, аргумент про «субъективную правду» кажется мне слабым. На практике-то обычно все прекрасно соображают – еще до вынесения санкций, кто на кого напал, кто прав, кто виноват. Проблема в том, что существуют попытки «размыть» правоту. Это и есть дело философов – заниматься аналитикой и даже метафизикой таких случаев.

НСП: Да, безусловно, существует некая сложившаяся система институтов. Они, может быть, недостаточно эффективны. Но все же *действительно* есть базовые нормы международного права, в отношении которых существует консенсус. Например, в отношении агрессивной войны с захватом чужих территорий совершенно ясно, что это нарушение международного права. Но возникает в этой связи другой вопрос – а не является ли эта война как раз такой попыткой тирании изменить эти правила в свою пользу и навязать миру некий новый порядок, в котором сила господствует над правом?

И далее – является ли эта попытка безумием тирана, который вдруг возмнил себя всемогущим? Или она представляет собой рациональный расчет власти, начавшей войну – расчет на то, что базовые нормы и принципы можно изменить в свою пользу, причем силой?

АД: Именно с этим мир сейчас и столкнулся. В очередной 1001-й раз. В безумии тиранов всегда есть своя система. (Да и что-то я не припомню клинически безумных тиранов: их работа требует ума и уж во всяком случае – хитрости). Логику тирании можно проследить, начиная с античности. Отцы наши, греки, изобрели все, что можно изобрести, не считая современной техники. В том числе они изобрели тиранию, которой раньше не было. Они же ее теоретически описали, включая логику поэтапного развития тирании. Платон прямо пишет, что, начиная с определенного момента тирану нужна война, потому что она дает то, что начинает ускользать у него из рук: солидарность через мобилизацию. К тому же война легко позволяет перенос вины за все беды на врага. Ключевой вопрос – откуда берется сама тирания: ведь это болезнь демократических систем. (Если только не называть тиранией всякий властный произвол; но этого не стоит делать, чтобы не упустить специфику феномена). Тирания – это навязанный силой союз вождя и народа, отменяющий формальные политические институты республики по причине их мнимого или действительного бессилия. И рука об руку с развитием тирании рождается новый тип войны с ее особой легитимизацией. Я вполне согласен с Вашей формулировкой: развязанная сейчас война – это попытка тирании навязать миру новый порядок, в котором сила господствует над правом. Поскольку тирания – неэффективный формат, она должна компенсировать свою слабость насилием, войной и, как правило, ментальной экспансией. Если она деморализует мир, парализует его волю (что иногда делают насекомые-паразиты со своей жертвой), она существенно продлит срок своей жизни. Это удалось большевикам. И раз уж мы все время тревожим тени древних греков, вспомним стратегию Филиппа Македонского: ему удалось деморализовать и коррумпировать полисную демократию, после чего его взбалмошному сыну уже нетрудно было завершить сюжет. Вот уж действительно был «рациональный расчет». У агрессора «рациональный расчет» вполне мог бы сработать и сейчас, если бы не чудо иррационального сопротивления Украины. Во всяком случае, мы имеем дело не с психозом фюрера, почему-то желающего реставрировать Советский Союз, а с проверенным историей логичным механизмом, который, по всей видимости, может продлить существование режима. А то и хуже. Ведь самая загадочная тема этого сюжета – почему мир с таким удивительным смирением кролика перед удавом готовится к капитуляции. Но сегодня ее не будет: слава Украине!

НСП: Вы описываете логику развития власти и тирании в категориях, которые берут свое начало еще в античности. Тут сразу возникает вопрос об исторической повторяемости. Ведь не зря все время возникают эти исторические сравнения Путина с диктаторами и тиранами прежних эпох. С точки зрения этой логики может ли вообще быть что-то содержательно новое в тираническом режиме правления?

АД: Формула тирании одна и та же. Зло вообще – это скучная банальность; оно не способно к развитию. Но среда, которой оно питается, изменчива; и это создает иллюзию «историчности» зла. Так, в изменившемся мире появился по-настоящему новый вариант тирании – тоталитаризм. Настолько небывалый, что его и сейчас не осмыслили по-настоящему. Это удалось, пожалуй, литературе, но политическая мысль, с ее старым тезаурусом XVIII–XIX веков, забуксовала. Что же касается нынешней России, то мы имеем дело с тривиальной хун-

той, которая пытается примерить на себя тот или иной исторический декор, но скрыть своей вульгарной бандитской природы не может. Поэтому не стоит ей помогать и искать в ней что-то глубокое или новое.

НСП: Но все-таки трудно не увидеть – хотя бы в судьбе западного мира – некой истории тирании.

АД: Конечно. И чем шире будут исторические горизонты, тем легче будет прийти к пониманию. Современные софисты советуют избегать «больших нарративов». Но я думаю, что без них никак не обойтись: большие нарративы задают смысловые контексты, без которых мир вообще становится непонятным. Для нас такой большой контекст – это развитие цивилизаций «осевого времени». В нем задаются какие-то параметры эволюции свободы. Там же и открывается возможность *утраты свободы* в результате тирании. Это такая общая «корзинка». Дальше уже нужно смотреть на конкретные исторические периоды. Характерно, что феномена тирании в Средние века не было, при том что политического зла там было более чем достаточно. После античности логику тирании включило именно Новое время на самой своей ранней заре в XIII–XIV веков, в религиозных сектах, в городских республиках и даже в эксцессах императорской власти. С XVII века формат меняется, это уже не «обычная» тирания, а противостояние абсолютизма и «революции». Пожалуй, революцию надо признать еще более свежим изобретением, чем тиранию. Социальные потрясения до времен модернитета мы часто называем революцией, но то были, скорее, перевороты, смуты и мятежи в рамках одной парадигмы.

НСП: Или войны за независимость, которые марксисты любили переименовывать в революции.

АД: Хороший пример. А вот то, что сегодня мы называем собственно *революцией*, началось примерно в лютеровское время, развиваясь далее по одному более или менее одинаковому сценарию. С этого момента кристаллизуются те «переменные», которые входят в функцию революции: идеологическая мифология, утопия, историческая миссия, вождь, партия, угнетенный народ, враг. В этой системе тирания обретает второе дыхание, и ее питательная среда выходит за границы античного противостояния аристократии и демократии; вирус тирании проникает и в монарха, и в народного вождя, и в партию, и в доктринера. Видимо, с якобинцами и Наполеоном приходит еще одна стадия тирании: новый феномен, который пока толком не описан учеными, но пережит и выражен художественным сознанием Европы. Я имею в виду то, что потом становится тоталитаризмом. Характерно, что наполеоновский проект тесно связан с образом мировой империи (миф) и с культом войны (ритуал). В это же время романтики осуществляют небывалую инверсию ценностей, поэтизируя зло, силу, стихию и авторитарную личность. Ну а затем – XX век, о котором мы все знаем, хотя и не все понимаем. Утопии начинают сбываться, тирания включается составной частью в тоталитарную модель и приобретает – пока на короткое время – невиданную силу. Но тут надо еще понять, что за *сила* пришла в конце Нового времени? И не завершили ли она (в гегелевском смысле) историю тирании, сделав ее своим подчиненным моментом. В этом еще предстоит разобраться. В сегодняшней же России мы видим тривиальную версию тирании, у которой на современном политическом глобусе много точек. По каким-то причинам до

«взрослого» тоталитаризма этот режим не дорастает (что обнадеживает.) Но, с другой стороны, именно с такого рода тиранией приходится сейчас воевать.

НСП: А что для Вас является как бы определяющими признаками такой тирании власти? Наличие одного такого авторитарного вождя или система власти? Как вы это бы в современном контексте определили тиранию?

АД: Тирания начинается с заменой (чаще всего – неявной) принципа верховенства права на принцип общинной солидарности. Вторым шагом является прямое действие заинтересованной группы по захвату и по удержанию власти. Общественный договор и законы в таком случае могут существовать, но только как декорация. Они не имеют значения – в отличие от воли группы. Обычно все-таки – это режим, установленный *группой*, а тиран является лишь ставленником. «Штыком можно сделать что угодно, но на нем нельзя сидеть», – как говорил один из тиранов. Хотя эксцессы полного произвола личности тоже входят в меню тирании. Я думаю, кстати, все это неплохо поддается описанию в кантовской терминологии. Если мы формулируем законы общества, исходя не из общего блага, а из интереса группы (возможно даже, что она будет большинством), то форма правления *в любом случае* будет тиранической, а законы – фикцией. А закон без права – это не закон, а просто предписание. Даже если тиран – гуманист и пацифист. Кратко это выразил Августин: государство без закона – шайка разбойников. Я бы так сказал: как ни крути, все дороги ведут нас к определению права, поскольку наибольшая культурная эрозия связана с ним. Не случайно о праве так много писали в эпоху борьбы естественного права с позитивным, в XIX и XX веках, и особенно много – в немецкой трансцендентальной философии. Ведь речь шла о цивилизационном выборе. И он был сделан в пользу позитивного права: то есть, о чем договоришься, то и будет правом. И в России «чичеринская школа» появилась в это время не случайно, по тем же причинам. Она была словно крепость, со всех сторон окруженная правыми, левыми, пятыми,десятыми... Ученики Б.Н. Чичерина точно поняли, за что нужно биться: за возвращение метафизики права и против его натурализации: дух против природы, форма против содержания. Поэтому тиранию нужно определять исходя из понятия права. Это выход из пространства права в пространство прямого осуществления субъективной воли. Каковая может иметь политическую оболочку – но, строго говоря, это не политическая воля. Все политическое предполагает выработанный институтами консенсус; в тирании же можно оформить солидарность «задним числом», прибегая к фантомным ценностям истории, идеологии или нации. Современные тирании здесь располагают богатым рынком мифов. Кстати, рискну предположить, что следующая культурная эпоха будет эпохой права (в том смысле, в каком античность была эпохой гражданина, средневековье – веры, а модернитет – науки).

НСП: Ну а культ правовой формы, на который вы пытаетесь опереться, – это не идеология? Нет ли здесь ловушки «парадокса Рассела»?

АД: Вот еще работа для философа. Ловушки здесь нет. Ведь идеология возникает, когда идея становится не целью в поисках истины, а средством для выражения «до-идейного» содержания, уже сделанного выбора. Это, так сказать, идейный дизайн. Когда же речь идет о праве и подобных ему первоначалах, то это даже не идеи (у которых всегда есть концептуальное содержание), а формы, которые не предопределяют никакого содержания. Это условия вхождения в

«пространство», устроенное определенным образом. Если уж совсем упрощать – это правила игры, не предreshающие игру.

НСП: Но правила можно и не принимать, в игру – не вступать.

АД: Именно так. Постулируя форму, я создаю мир для себя и предлагаю его другим. Я волен сказать «да» или «нет», но не волен избавиться от ответственности за выбор. Вот тут ловушка есть: рождаясь, я попадаю в мир, где «да» и «нет» уже были сказаны – и не мной. Вход в этот мир бесплатный, а вот с выходом – проблемы. Поэтому зачастую право воспринимается как навязанные мне правила игры. Причем сопротивление вызывает не столько принцип права, сколько принцип формы. По крайней мере, так в российской культуре. Эта глубинная неприязнь к форме обнаруживает настоящий цивилизационный разлом. Формальное в сознании россиян часто попадает в пейоративный ряд пустого, бездушного, лукавого... А противостоит ему душевное, человеческое, непосредственное, прямое, искреннее... Конечно, эта коллизия возникла не в России. Для Нового времени ее начало – это великая битва Руссо и романтиков за право действия на основе интуитивной ясности и непосредственного ощущения своей правоты. Врагом, в числе прочего, оказываются «фальшивое» буржуазное право; оно-де противостоит внутренней правде, которую чувствуют все хорошие люди. В России этот топос обрел плодороднейшую почву. Помните, у Аркадия Аверченко есть рассказ «Разговор за столом»? Там беженцы обсуждают, что бы они сделали, если бы им в руки попал Троцкий. Аверченко с удовольствием описывает, как разные интеллигенты и хрупкие дамы говорят об ужасных пытках и казнях. И когда очередь доходит до боевого офицера, все замирают в предвкушении. А он вдруг говорит:

– Так я бы его тогда, подлеца, в суд!..

– Как в суд? В какой суд?

– А как же?.. Ежели он виновен – надо его в суд. Пусть судят.

Молчание ступило, нависло, нагромоздилось над присутствующими, как насыщенная электричеством густая туча.

Нависшая туча – это ведь не только разочарование, но и предчувствие грозы из-за взаимного непонимания.

НСП: Если вернуться к определению тирании: получается, что тиран, в отличие от фронтового офицера, находит общий язык с публикой, живет с ней в одном мире?

АД: Да, поэтому он всегда победит, если только... Вот в этом «если» – великая тайна истории. Сквозной сюжет Нового времени – борьба витальности против рациональности. Гениям эпохи удавалось примирить противоположности, но в целом культура дрейфовала по направлению к более вероятному состоянию, к доминированию естественного начала. Но были и будут восстания «невероятного» против этого дрейфа: таким мятежам, с их «*regat mundus*», культура обязана всем лучшим, что в ней есть. Тиран в этой драме – на стороне естественного, обычного; в этом его сила. Но в этом и обаяние, поэзия тирании – особенно если взглянуть на мир омертвевшего, измельчавшего формализма. В качестве историко-культурной формулы для современной тирании, может пригодится тег «вульгарный романтизм». Тиран – это романтик, взывающий к народу, стихиям, золотому веку, почве и скрепам. (Но сам он, конечно, должен

быть трезвым среди пьяных). Я не хочу шельмовать подлинный романтизм. Собственно, по-своему оба антагониста – и просветители, и романтики – внесли какой-то вклад в общее дело растреления культуры; но сейчас важнее вспомнить о ценностях классического Просвещения – именно они больше пострадали от духовной капитуляции, которую сейчас мы наблюдаем.

НСП: Очень интересно. Вы упомянули российскую интеллектуальную традицию и ее пренебрежение к праву. Но на этом же фоне происходит и *гипертрофия морали*. Сейчас мы снова становимся свидетелями дискуссий о понятиях *вины и ответственности*, которые ведутся в поле морали, а не права. И здесь тоже требуется прояснение базовых моральных категорий. Например, обсуждается вопрос, являются ли русские как народ ответственными за эту войну? Общий вопрос тогда такой – возможна ли вообще коллективная ответственность? Или только индивидуальная? Что вообще сейчас можно об этом сказать? Может быть, лучше сказать *моральная ответственность*?

АД: С одной стороны, морали много не бывает. Но Вы вот сказали «гипертрофия морали»; думаю, это очень точное выражение. Дистрофия морали не исчезла, но сейчас одновременно заметна гипертрофия морали. Почему? Это для «русской морали» очень характерно и часто происходит от бессилия, от нежелания производить определенный тип усилий. Тут есть как бы аспект юродства: «Я сейчас посыплю голову пеплом, рухну на площади на колени, скажу – простите меня, я во всем виноват!» и гештальт закроется. Ну да, замечательно, но может быть стоит проделать элементарную моральную работу и сказать в нужное время свое «нет» или «да», или кому-то помочь? Многие так и делают. Да и Вы, например, помогаете конкретным людям не только словом, но и делом. И я не хочу к тому же поставить под сомнение муки совести. Но опасаясь некоторой аберрации понятий. Я про тех, кто считает, что если проведена внутренняя работа, то есть и покаяние. Человек как бы говорит «извините», хотя его никто не спрашивает. Но этим «извините» он очистил свою совесть, принял моральное слабительное, испытал облегчение: «Ну, я же извинился, что вам еще надо? Теперь оставьте меня наедине с моими книгами». Тут отсутствие политического и правового *загоняют* человека в область «духовности»; да, без нее нельзя, но она не должна быть *вместо* чего-то. Эта постоянная подмена одной функции другой – старая русская болезнь. Так что понятие вины мне в таком контексте не нравится, хотя звучит правильно и благородно. В Германии все-таки было по-другому. Там тема вины возникла, когда пошли реальные суды; и разговор был очень конкретный, и чтобы осознать долю ответственности, надо было выработать новые философские и моральные понятия. Мимо темы прошел, пожалуй, только Хайдеггер, конечно, который себя считал не виновным, а обиженным. Но у нас же пока ситуация не немецкая. Надо оставить в покое свою вину; от нас пока ждут, что мы хоть что-то сделаем или хотя бы не будем на стороне зла. Вопрос вины еще, наверное, придет, его будут решать. Интересно, кто получит право быть судьей? На каких основаниях? Думаю, такого умиления, как в 1990-е, в России уже не будет. Все обозлились; никто никого не хочет прощать по-настоящему, слезливое покаяние никого не тронет. Тут речь пойдет о реальном демонтаже империи зла. А кто в какой мере виноват, почему мы молчали. Это все сюжет «Огонька» 1990 годов. Я думаю, это мало интересно сейчас.

НСП: Эта установка же типична для русской традиции – по существу, так или иначе, *все* виноваты. Можно вспомнить Достоевского... Но не получается ли так, что ситуация *глобальной вины* по существу снимает вопрос о конкретной ответственности? Если виноваты *все*: и Раскольников, и Порфирий Порфирьевич, и Соня Мармеладова – тогда же вообще нет никакой конкретной инстанции, которая бы могла бы вершить правый суд и отделить правого от виноватого?

АД: Нет, это вопрос не очень сложный, потому что вина действительно может устанавливаться определенной процедурой. Думаю, мы степень вины и сами себе можем установить. Я вот, как гражданин, не вышел на площадь, не пожертвовал жизнью; конечно, я виноват. Но можно судить и других: не вижу тут моральной проблемы (хотя есть религиозная). Вот только с коллективной ответственностью есть сложности.

НСП: Да, ведь на площадь мы не выходили и не оказывали никакого активного, действенного сопротивления. Но это ведь касается прямо-таки большинства. Народ не готов выходить на площадь и протестовать. Все старались жить, не особенно интересовались тем, что происходит, кто победил на выборах, и так далее. Таким образом распространялась *терпимость ко злу*; в форме невнимания и неинтереса к политическому. Может быть, это и есть основание ответственности?

АД: Ну да, тут я бы даже не стал альтернативные какие то слова искать. Как вы сказали, так и есть. Привычка и терпимость ко злу – это всегда почва, на которой вырастает черт знает что. Тиранизм и сатанизм всех сортов. Да, конечно, здесь можно говорить, кто виноват, потому что молчал; кто виноват, потому что терпел. Не хочу сказать, что вопрос совсем простой. Всегда ли, с точки зрения права, человек обязан жертвовать своей жизнью и жизнью своих близких ради гражданских идеалов? Или есть ситуации, когда он перестает быть гражданином и становится жертвой, заложником. Мы же не предъявляем требований к заложнику: «Почему вы не протестовали? Сидели себе в автобусе, смотрели на эту гранату в руках у террористов! Нет, чтобы громко крикнуть – мы против!» Мы понимаем, что заложников просто надо спасать. Так или иначе, всегда есть те, кто *может спасти*, и есть те, кого нужно спасать. Осуждение молчания тут не выносится априори. Если бы некто не молчал, может быть, погибли бы его близкие. Или он сам? Можем ли мы здесь его обвинить? Или мы думаем – пусть он сам делает свой выбор? А потом можно думать, простить его или нет. Вот эти материи, разумеется, не поддаются формализации.

НСП: Но в отличие, скажем так, от ситуации с заложниками, мы действительно тут имеем дело с огромным гражданским сообществом, с целой нацией, которая имеет некоторое единство. Может ли быть в заложники взято целое гражданское сообщество? Для описания этого нам нужны какие-то другие категории ответственности. Можно ли здесь вообще использовать «моральные» понятия? Ведь о морали мы говорим, прежде всего, применительно к индивидуальным поступкам.

АД: Конечно, можно взять в заложники целое общество: для примеров и глобус долго крутить не надо. Большевики стали делать это с первых своих дней, и у них получилось. Сейчас это даже проще: общество атомизировалось, а военная техника совершенствовалась и стала монополией государства. Но-

вейшая версия (она присутствует на всех континентах) обходится даже без армии; нужны только хунта и сытая гвардия из безработных провинциальных парней. Но можно ли применить моральные понятия к целому обществу, вопрос непростой. Тут опять надо подрядить философов. Свойства сообщества – это технически сложный случай, то есть – сложенный из многих элементов и параметров. Моральным субъектом может быть тот, кто принимает решения и несет за них ответственность. Таковы не только вменяемые индивидуумы, но и сообщества. Но в случае собирательного субъекта ответственность входящего в него индивидуума уже надо определять особой процедурой. А у таких субъектов, как народ, для оценки надо искать встроенные в него ответственные структуры, которые принимают решения. Мы обычно пренебрегаем такими тонкостями, особенно если ведем table-talk. Кто меня осудит, если я буду говорить о жизнелюбивых феакийцах или агрессивных лестригонах? Но ведь не каждый феак блаженствует, и благоденствие – не единственная черта этого народа в целом. О характере народа или о его душе вполне можно рассуждать, но только метафорически. Короче говоря, «народ» – это не моральный субъект. И «индивидуум» не может быть злым или добрым: корректно было бы оценивать только его поступки. Мы тем не менее не озадачиваемся этими правилами, что безопасно только до определенного уровня. Хороших или плохих народов не бывает, и когда мы начинаем приписывать постоянные свойства народу, начинается злокачественная мифология. Такие фантомные субъекты, как, скажем, «воля народа» неискоренимо присутствуют в нашей речи, в мышлении, но иногда нужно относиться к этому с повышенной осторожностью. Надо сказать, что когда мы со всеми этими тривиальностями входим в родное зазеркалье русской истории, начинается какое-то головокружение. Как вы верно заметили, «нужны какие-то другие категории». Меньше всего хотелось бы говорить про зондервег, но куда от него денешься! Российское общество никак не могло сложиться в гражданское, но с XVI века его еще и ломали – в одном направлении, целенаправленно, чтобы уничтожить ростки гражданского общества. А когда что-то срасталось, ломали по этому же месту опять. Трудно найти нацию с такой же судьбой. Формально – это была территория права, а с другой стороны – тирании. Это всегда было изувеченное общество, «несеклидов мир» людей, которые научились выживать и пластично принимать нужные для адаптации формы. Мучить этих людей социологическими опросами бесчеловечно и оскорбительно. Как бы они выжили, если бы не могли уловить «радары», чего от тебя ждут, и именно это сказать; тогда тебя оставят в покое и ты пойдешь на свой любимый огород. Но чтобы не тревожила совесть, надо еще и себя убедить, что сказанное – это правда. Вот оптимально комфортная ситуация, в которой учили жить нацию 500 лет. Да, это не освобождает от ответственности. Но это заставляет нас осторожнее оперировать категориями права. Где-то мы действительно имеем дело с заложниками, но где-то – с такой субстанцией, которую надо особым способом описывать; и явно не в категориях консолидированного гражданского мира. Конечно, трудность в том, что в такой социум встроен целый набор других. Например, сообщество морально свободных людей (во всех социальных группах), готовых говорить и действовать.

НСП: Да, тут как раз это и сложно, потому что вы говорите с одной стороны, действительно, о традиции уничтожения *гражданских* и даже индивидуальных

прав. Но при этом мы и судим – и стараемся рассуждать – все-таки с точки зрения права как вменяния индивидуальной вины?

АД: Другой точки зрения для суда просто нет.

НСП: Этот вопрос возникал еще в нашем бохумском проекте о «Культурах справедливости». Вот те понятия, о которых мы говорим – право, суд, справедливость: они вообще имеют какое-то осмысленное применение по отношению к тем политическим и социальным отношениям, с которыми мы имеем дело, когда говорим о российской политической, социальной или интеллектуальной традиции? Или нам нужно какие-то *совсем* иные понятия изобретать, чтобы с этой традицией работать? Или все-таки следует держаться тех самых базовых понятий, о которых Вы говорили в начале? Тогда мы опять движемся по кругу – можем ли мы применять эти понятия к той традиции, которая их отторгает, где они все время вытесняются?

АД: Вообще-то говоря, здесь тоже нет особой альтернативы. Если мы признаем людей людьми, значит категории должны быть универсальными. Но это непростая ситуация. Еще и потому, что человек может быть то таким, то другим. Это как судить за то, что человек в состоянии опьянения сотворил черт знает что. Это ведь не осознавалось как злой поступок. Обычно тут судья говорит, что у него *было* состояние сознательности, когда он еще мог определить правила своего поведения. Значит, он несет ответственность за свое временное состояние невменяемости. Так и тут. Мы ведь *уже признали себя людьми*. Вроде бы не получается так, что тут – человек, а там – изуродованная тоталитаризмом биомасса. Скорее получается так: либо двигай назад в мир биологический, либо бери на себя вину. Это все опять возвращает нас к Древней Греции. Эдип тоже был не виноват, он хотел избежать зла, но стал марионеткой рока. А потом сказал: да, я не ведал, что творил, но беру на себя ответственность – и тут-то он и стал свободным человеком. Резюме такое – для универсальных категорий сделать исключение нельзя. Скорее, можно сделать исключение для людей, которых я сужу или не сужу.

НСП: Но здесь я хочу вспомнить, что человечество еще в XX веке столкнулось с совсем иной ситуацией, которую нельзя так однозначно описать в категориях *раба* и *свободного*, известных нам из античности. Это ситуация, описание которой мы находим у Оруэлла: тоталитарное государство, где система порабощения достигается посредством *идеологии*, или, как говорил сам Оруэлл, через распространение *двомыслия*. О нем много писали советские диссиденты. И вопрос теперь таков: является ли нынешняя российская ситуация продолжением прежней системы *идеологического* господства?

АД: Не надо экстраполировать тоталитарный идеализм на нынешнюю ситуацию. Она не похожа. Вообще можно сначала поставить вопрос об *идеологии* тоталитаризма. Это ведь *безыдейная* структура. В том смысле, что тоталитаризму все равно, какая программа будет заложена, важно, чтобы она была. Особенность тоталитаризма в том, что идея *дана*. Она не обсуждается, она дана в откровении. А что именно дано в откровении? Да какая разница! Взяли и сменили откровение, если это пророку будет угодно. Ранние внутривнутрипартийные баталии Ленина показали, что он был экстремально гибким в вопросах доктрины. Можно было и Маркса переписать, если нужно для дела. Главное – партия; примат партии – это очень серьезно (и это, действительно, было авангардным

прорывом в будущее). А идея – это дизайн. Но без него тоже нельзя. Поэтому, когда в 2000-х стало формироваться неотиралическое общество, было видно, как металась верхушка в поисках идейных скреп – от евразийства до оккультных идей. А общество было равнодушно – что ни поп, тот и батька. Даже с понятием патриотизма все было сложно. Потому что ведь начнешь говорить о патриотизме – и сразу начинаются бесконечные споры о том, что такое нация, народ, традиция; и почему в России традиции не сосуществовали, а боролись – не на жизнь, а на смерть. У Лотмана было такое, правда устное, высказывание: «Россия – это территория, где право работает ровно настолько, чтобы не дать работать традиции, а традиция – ровно настолько, чтобы не дать работать праву». Пожалуй, так и есть. (Да он об этом и в книге «Культура и взрыв» написал). Пытались опереться на церковь, но тоже получилось неладно: христианство несовместимо с таким режимом. Ведь церковь не должна быть комиссаром при командире. Сейчас, кажется, даже старообрядцы на удивление дружно подпевают режиму. Хотя, казалось бы... Опереться на такую церковь государству трудно. Отметим, однако, парадокс: при заинтересованности в идеологии, настоящие идеологические битвы блокировались еще со времен Ивана Грозного. Похоже, что последняя битва – это сражения никонианства со старообрядцами. После этого идейный запрос вообще исчез с герменевтического горизонта. Остались только сакрализация государства да интеллигенция со своими духовными идеалами. В случае с интеллигенцией еще получается какой-то плюрализм идей, а с государством – спокойная и безыдейная жизнь. Разве была Российская империя XIX века идеологической? Конечно, нет. Когда славянофилы пытались выстроить идеологию монархии, то их сразу успокоили, потому что идеология как таковая была опасна империи.

НСП: Получается, что единственно определяющей является идея империи?

ААД: Что называть империей? Это универсалия с неопределенным содержанием. Ту империю, которая была стержнем Европы, сломал Наполеон и закончила Первая мировая. (Об этом здесь не место говорить, хотя тема важная). Позднее речь уже шла о многонациональном государстве с колониями и тенденцией к расширению. А это – другой сюжет. Я не думаю, что слово *империя* это ключ к чему бы то ни было в русской истории. Слово *государство*, пожалуй, более валентно.

НСП: Сейчас ведь говорят о русской культуре, как по своей природе насквозь имперской. В том смысле, что она построена вокруг унитарного единого государства. Можно вспомнить в этой связи Петра Струве, который говорил о том, что «великая русская культура возросла на стволе русской государственности». Он, конечно, был отъявленным империалистом, и независимость Украины не признавал. Но я вспомнил об этом, когда узнал, что российская армия разбомбила под Харьковом музей Г. Сковороды. А между тем, В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» называет Сковороду «первым русским мыслителем». Как мы можем сегодня говорить о «русской философии» и «русской культуре», которые теперь вдруг оказываются поделенными? И было ли это наследие вообще единым? Особенно учитывая тот факт, что значительное число русских философов, включая Шпета, Челпанова, Шестова и других, родились в Украине, а потом переезжали в Москву или

в Петербург. Как говорить об этой «русской» культурной и интеллектуальной традиции?

АД: По-моему, не стоило бы говорить сейчас от имени всей культуры России под рубрикой «русскости». Это значительная ее часть, но только одна из частей. Но делать вид, что не было интегральной культуры России тоже странно. Как раз один из немногих сохранившихся смыслов «имперского» – это культурный смысл. На примере России или, скажем, Австро-Венгрии мы видим, что «ствол государственности» может иметь достаточно веток и плодов, чтобы сохранить национальные начала и дать им пространство взаимного общения. Более того – присоединить их общеевропейскому и мировому стволу. Вот, к примеру, Пушкин, который вроде бы был тем еще империалистом. Не таким, может быть, плоским, как Тютчев, хотя очень жестким. Но мы видим – и об этом Г. Федотов хорошо писал, что значила для него империя. Это Европа и Просвещение, это единственная сила, которая боролась с хтонической стихией. В то же время нельзя сказать, что империя – неперменная форма русской государственности. Были противовесы: мощное земское движение, радикальный интернационализм (далеко не импортный), были князь Кропоткин и граф Лев Толстой. Не была унитарной аграрная культура. А вот пресловутая сельская община в ее имперском варианте была импортной идеей: при Александре I немецкие специалисты (барон Август фон Гакстгаузен) объясняли, как создать управляемое сверху общинное сельское хозяйство. Так что и федерализм, и анархия, и империализм – все это было частью политической культуры России. Хотя надо признать, что империалистический дискурс сыграл фатальную роль в судьбе послереволюционной России. Если бы Антанта реально поддерживала Белую армию, что можно было сделать без больших жертв, большевиков раздавили бы очень быстро. Но, по некоторым данным, союзников очень раздражала ОСВАГовская пропаганда Белой армии. Она была в духе Струве – за «единую и неделимую». Хотя, казалось бы, в духе мудрого принципа «непредрешенчества» можно было и отложить дискуссию о сепаратизме. Но – увы – имперская миссия не ушла вместе с монархией.

НСП: В этом есть что-то парадоксальное, что видно и на примере с Пушкиным. Получается, что, с одной стороны, Россия рассматривает себя как некую жертву колониальной экспансии западного рационализма, но при этом она одновременно выступает и как субъект колонизации, просвещения и европеизации всех тех народов, которые находятся в ее подчинении. Может быть тут есть ответ? У России всегда есть какой-то челлендж между западничеством и славянофильством.

АД: Значение спора славянофилов и западников для нашей культуры сильно преувеличено. Для русской жизни это сюжет довольно локальный. А если рассматривать его по этапам: то, что говорили ранние славянофилы, совсем не похоже на то, что говорили и делали поздние. Так же, как не похож ранний немецкий романтизм (источник славянофильской идеологии) на поздний. Совершенно разные миры. Образ Запада – это, конечно, интересный сюжет. Но он тоже двойственен, как иные стереокартинки: легкий поворот и – Запад будет другом, еще поворот – врагом. Федор Михайлович, например, говорил искренне и одновременно и то, и другое. С одной стороны, «священные камни», с другой известно что.

НСП: Раз уж мы погрузились в проблемы философии истории, то я хочу спросить, видите ли вы какой-то новый момент в современной ситуации? Это конец «западного проекта» в России последних 30 лет? Или это какое-то «вечное возвращение», которое работает так, как вы сейчас это описали? Как очередной поворот избушки на курьих ножках: «Повернись к Западу задом, а к Востоку передом». Короче, переживаем ли мы какой-то новый этап в развитии России? В развитии ее пространства: политического, культурного и интеллектуального?

АД: Я думаю, что мы в самом деле переживаем новый этап в мировой истории. Меня не оставляет это ощущение, что в мировом масштабе изменилось все. При мне рухнуло несколько режимов. Когда я был совсем бессознательным младенцем, рухнул сталинский. Потом хрущевский, потом брежневский, потом Перестройка. Вот сейчас на моих глазах рушится то, что строили последние сто лет, но обвал потянет за собой и весь мировой порядок. Надеюсь, это будет эволюция, а не революция. Россия вернется в европейское гнездо, из которого она выпала. Она станет такой, какой стали древние культуры, позабыв о своей миссии: «Древний Рим» стал Италией, «Древняя Греция» просто Грецией. Россия будет не Великой, не Святой, а просто Россией, нормальным государством с нормальными людьми. «Вот счастье! вот права...» – сказал бы империалист Пушкин. Возможно, перерождение продлится долго. Но для начала нужно, чтобы глобальные международные организации стали тем, чем обещали быть и после Первой, и после Второй мировой войны. Эти обещания формально подкрепили важными программными документами, которые, увы, не работают. Но если они не заработают, нас ждут Темные века. Сейчас, по понятным причинам, часто цитируют Томаса Манна; в том числе и эти слова (написанные в 1939 году, а не в 1945-ом!):

дух вступил в эпоху моральную – иначе говоря, в эпоху упрощения, когда он, отказавшись от гордыни, пытается разобраться, где добро и где зло. Зло явилось нам в такой бесстыдной гнусности, что у нас открылись глаза на величаво-простую красоту добра, мы почувствовали к нему сердечную склонность и уже не считаем зорным для своей утонченности признаться в этом. Мы вновь решаемся произносить такие слова, как свобода, истина, право; мы видели столько подлости, что избавились от холодного скептицизма, с каким прежде относились к ним. Мы идем с ними навстречу врагу человечества, как древле монах шел с распятием навстречу сатане; и все муки, все страдания, которые уготовила нам наша эпоха, перевешивает юное счастье человеческого духа, который вновь обрел начертанную ему от века миссию.⁶

Это важное наблюдение. Большие эпохи заканчиваются распадом культуры на полюса переусложненности и примитивности. Следующие начинаются с открытия новой простоты. Кажется, судя по «сердечным склонностям», для нас уже наступила «эпоха упрощения». А значит, союз тирана с софистом ждут тяжелые времена.

НСП: Большое спасибо вам за этот разговор!

⁶ Манн Т. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10 / пеод ред. Н. Вильмонта и Б. Сучкова. М.: ГИХЛ, 1961. С. 296.

Abstracts

OLEG ARONSON. SHAME AS SENSUS COMMUNIS

Revisiting Jaspers' critique of the idea of collective guilt, author proposes to consider the category of shame, not as an individual moral experience, but as a *sensus communis*. Using the Kantian interpretation of the *sensus communis* to understand the collective character of shame allows us to draw attention to the fact that modern democracy (in contrast to war-oriented fascism) has lost its own main mobilizing resource, which is revolution, embodying the energy of community and the establishment of equality.

ANDREY ARKHANGELSKY. CALL EVIL BY NAME

In a dualistic ontology, good and evil are endowed with a universal realization and act as two opposing personalities. Considering evil exclusively in social, and not in ontological opposition, Soviet ideology experiences a one-sided picture of the world, depriving it of the ability to recognize and personally resist evil. When the totalitarian ideology collapsed and external censorship restrictions were lifted (after 1991), the post-Soviet man found himself face to face with evil ("he was not accustomed to working with evil in himself"). The abolition of the external rigid framework did not lead to liberation from the trauma of the totalitarian, but to the release of the basements of the unconscious. Ignoring the ontological problem of evil in post-Soviet Russia took the form of a perverse transference – admiration for violence as a unique "code of national culture". Postmodernism as a philosophy has become in Russia a symbol of "the relativity of good and evil", and has also been understood as the permission to juggle key ethical categories. The inability to recognize evil in oneself and in the surrounding world is the key problem of the post-Soviet consciousness. The unresolved problem of evil, not recognizing evil in receiving until not recognizing evil in the actions of the property of the state. The distorted understanding of modern reality was superimposed on existential indifference, thus legitimizing the personal irresponsibility inherent in post-Soviet people. Under the new authoritarian regime in Russia, a paradoxical type of apolitical citizen was formed ("a pre-political person, the formula "I am outside of politics", the practice of preferring "lesser evil to greater evil"). The Russian nation bears collective political responsibility (according to Karl Jaspers) for the unleashed political regime war against Ukraine.

SERGEY ZENKIN. THE CRAFT OF HOSTAGE

In their resistance to unjust war and aggressive propaganda, the responsible citizens of Russia should be treated today as mindful hostages, representatives of the universal culture, from which the government is trying to tear their country away. The challenge of such a hostage is to work for a post-war future, which will require a clear awareness of the catastrophe and a frank dialogue between people living in the country and being divided by the war. The hostages express their independence with words of conscience and reason, as well as with their mere presence – showing their face to their compatriots, betting less on openly political than on moral and cultural statements. The article contextualizes this historical mission by providing intellectu-

al background in the heritage of French writers and philosophers Antoine de Saint-Exupéry, Michel Foucault, Emmanuel Levinas.

MARIA MAYOFIS, ILYA KUKULIN. EMPRESSION INSTEAD OF IDEOLOGY

Since the first studies of totalitarianism, political and social researchers used to assume that aggressive and authoritarian political regimes function basing on one or another mobilizing ideology. The authors of this paper agree that the contemporary Russian regime is authoritarian and aggressive, but they suggest that it has no ideology of its own. Moreover, attempts to develop such an ideology have consistently failed. This can be explained basing on understanding that the Russian media, which ensure the loyalty of a large part of the population, disseminate not ideology but messages of moral corruption. Media constantly informs their audience that Russian residents are “kind” and “empathetic” people and that is why they should support aggressive actions against Ukraine – allegedly “out of sympathy for the children of Donbass.” The authors of this paper propose to introduce the new term “empresion” – a portmanteau combining empathy and aggression. According to the authors, the real cause of the post-Soviet wars – such as a war in Chechnya, Russian attacks on Georgia (2008) and Ukraine (2014, 2022), military aid to the repressive Syrian regime – was the resentment of some officers of the post-Soviet special services and army, their bitter reaction to loss of the USSR in the Cold War. In Germany, in the aftermath of World War I, such a sentiment was ideologically shaped in the form of National Socialism, but in post-Soviet Russia this sentiment was not recorded in any ideological form. The instrument for media promotion of this resentment was not ideology, but “empresion.”

MICHAIL MAIATSKY. COURT OF CONSCIENCE AND A COURT OF LAW: NON-REDEEMABILITY OF GUILT VS. INEVITABILITY OF PUNISHMENT

The current war has posed to Russian citizens and intellectuals the question of guilt or responsibility. Many misunderstandings in these issues have to do with the confusion of the moral and legal aspects of guilt. As for *collective* guilt, the author admits to experiencing it by virtue of belonging not so much to the Russian “nation” but to the Russian philosophical corporation. Relying on it and other voluntary henchmen, the regime managed to destroy civil society and institutions designed to keep the authorities within the framework of the constitution and the public good. The law assumes that those responsible for the current disaster will be prosecuted under the law of their country; only if it fails to be enforced, does international justice come into play. This second scenario seems most likely precisely because Putin & Co. have consistently and systematically imposed a regime of impunity and manually administered justice.

ALEXANDER BIKBOV. THE TRAUMA OF THE NEO-MERCANTILISM AND THE CHALLENGES OF A NEW CULTURE

The paper explores the transformation of the Russian political and administrative regime over the last 20 years, during which a militarised colonial rationality is being established and the decision to militarily invade Ukraine is being prepared. In the last phase of these transformations, the dual formula of the new spirit of Russian capitalism, that is neo-liberal reforms in neo-conservative fit, regresses to a more

archaic scheme of state mercantilism, which substitutes the requirement of productivity with an impetus of territory. The fundamental effect of this shift consists in a discrimination of civic counter-powers, while the Russian ruling class maintains an attraction to the market magic. The paper shows how the far right-wing niche ideologies serving this shift become the centre of the political conceptual grid and how the vicissitude of the epidemic frees the political traditionalism from its secondary service function, giving it an agency of its own. The described shift allows us to clearly identify the war trauma in the Russian society as related to the transition from an "acceptable" neo-liberal management of traditionalism to an aggressive form of state neo-mercantilism eroticising colonial killing. The period immediately preceding the war owes this trauma to political "neutrality" and to the frequent refusal of the Russian cultural class to criticise "respectable" conservatism. In the horizon of the future, this trauma is embedded in the tasks of a new culture, which include decolonizing the view of Russian political history and working to investigate and to publicly denounce persistent links between far right essayists and the political establishment.

ALEXANDER DMITRIEV. MIRAGES OF CONTINUITY (TOWARD A CRITIQUE OF THE "CONVENTIONAL SCHEME" OF RUSSIAN HISTORY OF THE LAST CENTURY)

The focus of this paper is on the peculiar dual genealogy of the current Russian government: while formally inheriting the Russian Federation within the borders of 1991, it is constantly claiming continuity with both the Soviet Union and the pre-WW1 Russian Empire. This criticism in part inherits the ideas of Mikhail Grushevsky, who in 1904 questioned the "traditional scheme" of the natural transit of power from Kyiv to Moscow in the Middle Ages. The turning point of 1917 drew a line under all previous Russian history, both imperial and emerging national, and the "rebirth" of the 1980s and 1990s was in fact the third and entirely new form of statehood in Northern Eurasia, after autocratic and Soviet.

MARIA MENSHIKOVA. THE LEFT AND THE WAR IN UKRAINE

The article deals with the reaction of leftists around the world to Russia's open military aggression against Ukraine. For many, this has caused them to reconsider their position on Putin, while others have been unable to move beyond the usual framework in which NATO is the source of all imperialist evil. The author offers a critical assessment of these reactions and outlines the challenges to which the left will have to respond in relation to the war in Ukraine.

HELEN PETROVSKY. EMPIRE, OR SELF-EXPANDING VOID

The essay treats Russia's war against Ukraine in terms of colonial expansion. However, what is at stake is the inner logic underlying this aggressive movement. The present-day Russian empire is not simply anachronistic. It is a state entity that exists only by way of self-expansion, defying every life form which stands in its way. According to this logic, space is opposed to time, the very measure of human subjectivity. The author draws on various historical and literary sources to show the difference between "two Russian nationalities" (the name of a classic study by the 19th century Russian historian Nikolay Kostomarov), i.e., the Russians and the Ukrainians, regarding their relation to communal bonds and to the idea of freedom. More recent debates on empire, such as a spontaneous exchange between the philosophers

Antonio Negri and Valery Podoroga, are also brought into the picture. The topological coordinates of Russian space are further explored through the writings of Yuri Mamleev and the Italian novelist Dino Buzzati.

OXANA TIMOFEEVA. DEATH DRIVE: FROM EMPIRE TO FASCISM.

The paper proposes a philosophical analysis of fascism in the context of Russian invasion in Ukraine. Starting from the dialectics of an empty self, or abstract personality, and the phantasmatic figure of the Lord of the world, which, in the 6th chapter of the *Phenomenology of Spirit*, Hegel presents as the “state of legality”, it addresses the logic of empires not only as political entities, but also as forms of consciousness, and describes fascism as a terminal form of imperialism – more specifically, as its death drive.

ANATOLY AKHUTIN. NIHILISTIC WAR AND THE RESPONSIBILITY OF THOUGHT

I ventured to think during the war. I wrote several blogs on the topic “War and Intelligence”. Everything seems out of place here. War requires action (participation, protection, assistance), and thought wants concentration in peace. I am thinking about this particular issue: how does the event of the war relate to the ability – and maybe even the duty – to think. Any war calls into question a human being, but the aggressive war that Russia is now waging against Ukraine raises the ultimate question: this is a war not so much an annexationist one as a nihilistic one. It calls into question the very human intelligence (*intellectus*) as a responsible care for being. All knowledge, awareness, concepts, sciences, discursive practices, etc. – are secondary. They make sense in the primary context of responsibility. All intellectual pursuits get their own meaning, understood as aspects of the answer to the question that constitutes the heart of human being. This being is being-in-question.

KOSTANTIN BANDUROVSKYI. THREE SHOTS

In my essay, inspired thematically and structurally by Virginia Woolf’s “The Three Guineas”, I intend to express a series of interconnected ideas. In the first part, I share surprise I experienced while participating at a Russian conference on the problem of evil held before the outbreak of the current war. Speakers and discussants surprisingly justified evil, not noticing paralogsms in their speeches and leaving no room for criticism. Their thoughts revolved in a kind of protective “cocoon”. After the outbreak of the war, a huge number of photographs, videos and oral narratives about the crimes committed by the Russian army in Ukraine appeared. However, these testimonies are not able to break through this cocoon, since there is a competition not of facts or their interpretations, but of worldviews, integral cultures. This, in my opinion, explains why the targets of terrorist acts are often cultural objects that do not have any military or economic significance.

ANNA VINKELMAN. THE STATEMENT

Hate, Love, and Freedom are philosophical concepts I have brought together in the article. Following the traces of German Idealism, I discuss them and reflect on my emigration experience. In “Hate” and “Love” chapters, the very concepts are represented not as emotions or feelings, but rather as ontological concepts, which play a crucial role in the development of the World’s history, as well as in the person-

al paths of people, who decided to speak their “love” and “hate” out, living the country of origin and searching for a new home and for a possibility to help the world to return its balance. The “Freedom” chapter is an attempt to think them together, since – and that is a presupposition – both of them making the freedom up.

ALEXANDER DOBROKHOTOV. A CONVERSATION ON WAR, TYRANNY AND THE END OF HISTORY

The central theme of this conversation (with Nikolaj Plotnikov) is the question of what philosophers can and should do in an era of catastrophic change. The interlocutors agree that time has confronted us with the fact of the renewed alliance between mass, myth and tyrant, while war has brought to light the true extent of this up to now unspoken event. A new version of tyranny, no longer a threat to an isolated society, but to the world order. Philosophers should decipher the new formula for the “mystery of lawlessness” and restore the devalued concepts of freedom, reason, right, personal dignity, behind which lies not only the experience of the Enlightenment, but also the entire history of freedom, dearly paid for by humanity.

Authors

ANATOLY AKHUTIN – PhD in Chemical Sciences. Worked at the Institute for the History of Science and Technology of the USSR Academy of Sciences, the Institute of Philosophy of the USSR Academy of Sciences, then at the Russian State University for the Humanities. He taught philosophy at Moscow State University and Russian State University for the Humanities. Since his student days he has been involved in philosophy, first independently, then as a part of the Dialogue of Cultures Group headed by V.S. Bibler. His research has been focused on the history of European science, philosophy of culture, and philosophy itself, understood in the framework of dialogue of cultures. Since 2014 he has been living in Kiev, collaborating as an associate member of the Center for European Studies at the Kyiv-Mohyla Academy. Books (in Russian): *Experiment and Nature*. 2012; *Turning Times*. 2005; *Antique Beginnings of Philosophy*. 2007; *Europe – Forum of the World*. 2015; *Philosophical Mindset*. 2018.

ANDREY ARKHANGELSKY – culturologist, publicist. Editor of the culture department of the *Ogonyok* magazine (Moscow, 2001-2020). Columnist for the Carnegie Endowment, *The Insider*, *Republic*. Since 2014, he has been studying the phenomenon of Russian propaganda. Laureate of the Profession Journalist Award (2016). Permanent speaker of the Dozhd TV channel, Ekho Moskvy radio station. In 2020, he emigrated from Russia, a columnist for Radio Liberty (since 2021).

OLEG ARONSON – Ph.D. in Philosophy

KOSTANTIN BANDUROVSKYI – Ph.D., Ruhr-University Bochum, Germany

ALEXANDER DMITRIEV – historian and researcher at the Laboratory for the History of Science and Technology in The Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), till Spring 2022 – HSE, Moscow. His research interests also include modern Russian, Ukrainian, and European intellectual history, Soviet Marxism, theories of intellectual development, and the sociology of the humanities. His recent publications have addressed the Russian and east-European universities in the 20th century, academic internationalism, and the history of literary theory in the Ukraine (*The Atlantis of Ukrainian National Modernism*. 2021 – with Galina Babak).

ALEXANDER DOBROKHOTOV – philosopher, historian of philosophy, historian of culture, university professor. From 1995 to 2009, he was the chair of History and Theory of World Culture of the Faculty of Philosophy, Moscow State University; from 1988 to 1995 – the chair of the Department of Cultural History of the Moscow Institute of Physics and Technology; from 2009 until today – a professor at the National Research University Higher School of Economics (HSE), at the School of Philosophy and Cultural Studies. In 2010, he became a tenured professor at HSE. Since 2022 – Visiting Senior Research Fellow, King's College London. Currently, he is a member of the editorial board of *Studies in East European Thought*. He specialises in the history of Russian culture, history of philosophy, Kant and German Ideal-

ism, and philosophy of culture. Books (in Russian): *Philosophy of Culture*. 2016; *Teleology of – Culture*. 2016; *Selected Works*. 2008; *Dante*. 1990; *The Category of Being in Classical European Philosophy*. 1986; *Pre-Socratic Teachings on Being*. 1980.

ALEXANDER BIKBOV – sociologist whose research areas are the construction of post-WWII social knowledge, reforms of public administrations and collective time management, citizen mobilizations in the XXI century. Born in Moscow, he collaborated with several Russian universities before moving to France where he was a visiting professor at the EHESS in 2018-2021. He published a book “The Grammar of Order: A Historical Sociology of the Concepts That Change Our Reality” (2014, 2nd edition 2016), his recent publications include “Une péripétie du gouvernement: la sociologie soviétique entre incitation et répression,” in: *Actes de la recherche en sciences sociales*, 3-4 (243-244), 2022; “Which Place for Radical Trial in Genetic Structuralism and in Pragmatic Approach?,” in: *SocietàMutamentoPolitica*, 12(23), 2021; “Keep the City Clean: Ambiguous Ethics of Non-Violent Protests in Moscow,” in: M. Ege et J. Moser (eds.) *Urban Ethics. Conflicts about the ‘Good’ and ‘Proper’ Life in Cities.*” 2021.

ILYA KUKULIN – cultural historian and a scholar of Soviet and post-Soviet literature, cinema, and social thought. Ph.D. He lived and taught in Moscow till 2022. Emigrated on March 4, after the beginning of the second stage of Russian-Ukrainian War (the first stage started in 2014). Now, he is a visiting research fellow of Amherst Center for Russian Culture, Amherst College, USA.

MICHAÏL MAIATSKY – H. Dip. in Philosophy (Rostov-on-Don, 1984), Ph.D. in Ancient Philosophy (Fribourg, Switzerland, 2005). Lecturer at the Universities of Fribourg and Lausanne. Books in French: *Plato, Thinker of Visuality* (*Platon penseur du visuel*, 2005), *Resort Europe* (*Europe-les-Bains*, 2007); in Russian: *Secondly* (2002), *Controversy over Plato: Stefan George’s Circle and the German University* (2012), *Decorations (of) Dependence. Hommage to Jacques Derrida* (2019), *Ad hominem* and back (2020).

MARIA MAYOFIS – cultural historian and a scholar of Soviet literature, cinema and education. Ph.D. She lived and taught in Moscow till 2022. Emigrated on March, 4, after the beginning of the second stage of Russian-Ukrainian War (the first stage started in 2014). Now, she is a visiting research fellow of Amherst Center for Russian Culture, Amherst College, USA.

MARIA MENSHIKOVA – doctoral student at the Ruhr University Bochum. She graduated with a BA from Moscow State University and an MA in philosophy from State Academic University for the Humanities. She is author of texts and podcasts for Memorial and DOXA. Participant in Mikhail Lobanov’s election campaign for the Russian State Duma in 2021.

HELEN PETROVSKY – is affiliated with the Russian Academy of Sciences. Her most recent book is “Disturbance of the Sign: Culture against Transcendence” (*Vozmush-*

chenie znaka: Kul'tura protiv transtsendentsii; 2019, 2022). She is also editor-in-chief of the theoretical and philosophical journal "Sinii divan".

NIKOLAJ PLOTNIKOV – PhD in Philosophy, Professor of Russian Cultural and Intellectual History at Lotman Institute of Slavonic Studies and Russian Culture at Ruhr University Bochum.

OXANA TIMOFEEVA – Sc.D., professor at "Stasis"-Center for Philosophy at the European University at St. Petersburg, member of the artistic collective "Chto Delat" ("What is to be done"), and the author of books: Solar Politics (Polity 2022), How to Love a Homeland (Kayfa ta, 2020), History of Animals (Bloomsbury 2018), This is not That (in Russian, Ivan Limbakh Publishing House, 2022), Introduction to the Erotic Philosophy of Georges Bataille (in Russian, New Literary Observer, 2009), and other writings.

ANNA VINKELMAN – PhD Candidate, Radboud University, Nijmegen; Frei Universität Berlin (2022; Scholarship holder); Ruhr-Universität Bochum (2022; Scholarship holder); The Higher School of Economics, Moscow (2019-2022; Lecturer, Deputy Head of the School of Philosophy); Universität zu Köln & The Higher School of Economic (2017-2022; MA in Cultural History); The Higher School of Economics, Moscow (2013-2017; Bachelor)

SERGEY ZENKIN – doctor of sciences (literature), member of the Academy of Europe, professor at the Free University, as well as at two other Russian universities (now compromised).

Philosophie: Forschung und Wissenschaft

José A. Zamora; Reyes Mate (Eds.)

Philosophy's Duty Towards Social Suffering

vol. 56, 2021, 210 pp., 29,90 €, pb., ISBN-CH 978-3-643-91486-6

Andrzej Przyłębski

The Value of Motherland

An Introduction to a Hermeneutic Philosophy of Politics

vol. 55, 2021, 216 pp., 29,90 €, hc., ISBN-CH 978-3-643-91405-7

Peter Nickl; Peter M. Steiner; Assunta Verrone (Hrsg.)

Weisheit und Wissenschaft

Texte zum 7. Festival der Philosophie Hannover 2021

Bd. 54, 2023, 360 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-14991-6

Klaus Garber

Der junge Hegel zwischen Kant und Marx

Innerlichkeit und bürgerliche Gesellschaft im Fokus sozialphilosophischer Kritik

Bd. 53, 2020, 182 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-14742-4

Veit Thomas

Anatomie der konservativen Destruktivität

Eine leidens- und kulturtheoretische Studie zum Konservativen Charakter

Bd. 52, 2019, 454 S., 39,90 €, br., ISBN 978-3-643-14429-4

Assunta Verrone; Peter Nickl (Hrsg.)

Dreiviertel-Ich: Identitäten

Texte zum 6. Festival der Philosophie Hannover 2018

Bd. 51, 2020, 192 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-14272-6

Walter Andreas Euler (Hrsg.)

Nikolaus von Kues – Denken im Dialog

Bd. 50, 2019, 242 S., 34,90 €, br., ISBN 978-3-643-14270-2

Peter Nickl; Assunta Verrone (Hrsg.)

Schönheit ist Freiheit

Texte zum 5. Festival der Philosophie Hannover 2016

Bd. 49, 2018, 236 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-14020-3

Uwe Hinrichs

Die Verwandlung der Sophia

Vom Ausklang der Aufklärung ins performative Zeitalter. Zweiter Teil: Die Er-

zeugung der Welt. Ein Schritt ins performative Zeitalter

Bd. 48, 2018, 262 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-14005-0

Harald Haarmann

Die Verwandlung der Sophia

Vom Ausklang der Aufklärung ins performative Zeitalter. Erster Teil: Auf den

Spuren des verlorenen ganzheitlichen Denkens – Das Korrektiv zum Illusionspo-

tenzial der Aufklärung mit ihrem Vernunftsmonopol, ihrer Geschichtsmythologie

und ihren Zukunftsvisionen

Bd. 47, 2018, 224 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-14004-3

LIT Verlag Berlin – Münster – Wien – Zürich – London

Auslieferung Deutschland / Österreich / Schweiz: siehe Impressumseite

SYNEIDOS

Internationale Studien zur russischen Ideengeschichte/International Studies in Russian
Intellectual History

hrsg. von Prof. Dr. Nikolaj Plotnikov (Universität Bochum)

Nikolaj Plotnikov (Hrsg.)

Die Philosophie der russischen Revolution

Ein Rückblick nach einem Jahrhundert

Die Russische Revolution von 1917 prägte die europäische politische Ordnung seit Beginn des ‚kurzen‘ 20. Jahrhunderts und ist als dessen zentrales Ereignis gefeiert und verdammt worden. Sie wurde nicht nur als ein Ereignis der Weltgeschichte, sondern auch als Idee begriffen, die den intellektuellen Kosmos der Moderne neu strukturiert hat. Eine ‚Philosophie der Revolution‘ ist entstanden, die den Sinn dieses Ereignisses zu bestimmen suchte, sei es als „Sprung ins Reich der Freiheit“ oder als „Weg in die Knechtschaft“. Das hundertste Jubiläum gibt Anlass, das Verhältnis von Russischer Revolution und Philosophie einer komplexen Analyse zu unterziehen.

Bd. 7, 2023, 256 S., 39,90 €, br., ISBN 978-3-643-14640-3

Regula M. Zwahlen

Das revolutionäre Ebenbild Gottes

Anthropologien der Menschenwürde bei Nikolaj A. Berdjajev und Sergej N. Bulgakov

Die Studie vergleicht das Wirken der beiden russischen Denker in ihrem kulturhistorischen Kontext (1901 – 1948). Der Fokus richtet sich auf ihr gemeinsames Bestreben, die marxistische Sozialphilosophie durch eine idealistische, später christlich-personalistische Begründung der individuellen Menschenwürde zu ergänzen. Dabei kombinierten sie russische und westeuropäische philosophische und theologische Konzeptionen neu und entwickelten eigenständige Denksysteme. Die Ergründung ihrer Gemeinsamkeiten und Differenzen leistet einen Beitrag zur europäischen Ideengeschichte der Menschenwürde.

Die Arbeit ist mit dem Jean-Louis Leuba-Preis der Universität Fribourg (Schweiz) im Jahr 2011 ausgezeichnet worden.

Bd. 5, 2010, 400 S., 31,90 €, br., ISBN 978-3-643-80067-1

LIT Verlag Berlin – Münster – Wien – Zürich – London

Auslieferung Deutschland / Österreich / Schweiz: siehe Impressumseite

Anne Rörig

Personalismus versus All-Einheit

Philosophie des Dialogs und der Begegnung bei Semen Frank

Die Arbeit entfaltet die personalistische Ontologie des russischen Philosophen Semën Frank (1877-1950). Sein Denken nimmt bestimmte Motive sowohl der Dialogphilosophie Martin Bubers und der Phänomenologie Max Schelers als auch der antiken Metaphysik und russischen All-Einheitstradition auf. Die Autorin untersucht methodisch und terminologisch das Spannungsgefüge von personalistischer Anthropologie und ontologischem Einheitsdenken in Franks Werk. Die Bruchlinien dieses Gefüges verlaufen zwischen Selbst- und Fremderfahrung in der Ich-Du-Beziehung sowie entlang der Phänomene der Freiheit und des Bösen. Erstmals berücksichtigt diese Arbeit die bisher unveröffentlichte deutsche Urfassung von Franks Hauptwerk Das Unergründliche, die er 1937 im Berliner Exil verfasste.

Bd. 4, 2010, 224 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-10194-5

Nikolaj Plotnikov; Meike Siegfried; Jens Bonnemann (Hrsg.)

Zwischen den Lebenswelten

Interkulturelle Profile der Phänomenologie

Bd. 3, 2012, 264 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-11208-8

Alexander Haardt; Nikolaj Plotnikov (Hrsg.)

Das normative Menschenbild in der russischen Philosophie

Bd. 2, 2011, 248 S., 39,90 €, br., ISBN 978-3-8258-1332-1

Nikolaj Plotnikov; Alexander Haardt (Hrsg.)

Gesicht statt Maske

Philosophie der Person in Rußland

Bd. 1, 2012, 392 S., 49,90 €, br., ISBN-DE 978-3-8258-1331-4,
ISBN-CH 978-3-03735-903-7

LIT Verlag Berlin – Münster – Wien – Zürich – London

Auslieferung Deutschland / Österreich / Schweiz: siehe Impressumseite



Heinz Gärtner (Hrsg.)

Die Ukraine im Krieg – ist Frieden möglich?

Aus dem Inhalt:

Der Krieg 2014–2022 aus militärischer Sicht; Krieg in der Ukraine – Krieg in Europa; Der geopolitische Kontext: Modelle und Szenarien; Die Rolle der Türkei; Atomwaffen; Die Ukraine im Spannungsverhältnis; Wie weiter? Friedenslogische Reflexionen; Völkerrechtsfragen; Die Notwendigkeit der Deeskalation; NATO und Neutralität; Europäische Sicherheitsarchitektur; Friedenspolitik auf dem Prüfstand; Das neutrale Österreich als Modell; Um die Ukraine-Krise zu lösen, muss man am Ende beginnen (H. Kissinger); Die Abkopplung der Ukraine war töricht und gefährlich (N. Chomsky)

Bd. 19, 2022, 314 S., 29,80 €, br., ISBN 978-3-643-51116-4

LIT Verlag Berlin – Münster – Wien – Zürich – London

Auslieferung Deutschland / Österreich / Schweiz: siehe Impressumseite

Война против Украины, развязанная режимом Путина, несет смерть, разрушения и страдания украинскому народу. Но эта война означает и для России цивилизационную катастрофу. Группа из шестнадцати российских критически мыслящих интеллектуалов (философов, социологов, историков, культурологов) объединилась в этом сборнике, чтобы проанализировать произошедшую катастрофу и найти этически приемлемый ответ на ее последствия. В своих статьях они характеризуют эту катастрофу в этической, социологической и антропологической перспективе, рассматривая интеллектуальные факторы, которые сделали ее возможной. Продолжая работу в России, в Украине, Европе и США, авторы своим свободным суждением доказывают, что гуманитарная рефлексия способна возвысить свой голос против нового варварства, разрушающего базовые принципы европейской цивилизации.

Николай Плотников (ред.), профессор российской культурной и интеллектуальной истории Института славистики и русской культуры им. Лотмана Рурского университета Бохума

Der vom Putin-Regime entfesselte Krieg gegen die Ukraine bringt Tod, Zerstörung und Leid über das ukrainische Volk. Aber dieser Krieg bedeutet auch eine zivilisatorische Katastrophe für Russland. Eine Gruppe von sechzehn kritischen russischen Intellektuellen (Philosophen, Soziologen, Historiker, Kulturwissenschaftler) hat sich in diesem Band versammelt, um die eingetretene Katastrophe zu analysieren und eine ethisch vertretbare Antwort auf ihre Folgen zu formulieren. In ihren Artikeln charakterisieren sie diese Katastrophe aus ethischer, soziologischer und anthropologischer Sicht und untersuchen die intellektuellen Faktoren, die sie ermöglicht haben. Indem sie ihre Arbeit in Russland, der Ukraine, Europa und den USA fortsetzen, beweisen die Autoren mit ihrem freien Urteil, dass die humanitäre Reflexion ihre Stimme gegen die neue Barbarei erheben kann, die die Grundprinzipien der europäischen Zivilisation zerstört.

Die Beiträge sind in russischer Sprache verfasst.

